

Сергей БЕЛХОВ



ДО РАЗЛИЧЕНИЯ

ДОБРА И ЗЛА

Сергей Белхов

До различения добра и зла

«Пробел-2000»

2006

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Белхов С. Н.

До различения добра и зла / С. Н. Белхов — «Пробел-2000»,
2006

ISBN 978-5-98604-050-3

Эта книга – философская автобиография, своеобразный «экзистенциальный роман». Она правдива вплоть до последней буквы. В ней все реально – проблемы, события, люди. В центре внимания – бытие человека в мире. Автор предпринимает попытку пересмотреть основные схемы европейской культуры, разрушить абсолютность моральных ценностей и утвердить позицию культурного релятивизма. Многие сочтут эту книгу возмутительной и воспримут ее как наглую философскую провокацию. Но, по крайней мере, она захватывает серьезного читателя буквально с первых страниц и заставляет его задуматься о многом. Это дорогого стоит! Так что, покупайте, читайте – не пожалеете.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-98604-050-3

© Белхов С. Н., 2006
© Пробел-2000, 2006

Содержание

Книга первая. Теория выживания неприспособленных форм	6
Введение	6
Часть 1. Экзистенция	15
Открытие, сделавшее меня взрослым	17
1	22
2	35
3	50
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Сергей Белхов

До различения добра и зла

© Белхов С. Н., 2006
© ПРОБЕЛ-2000, 2006

* * *

Эту книгу я писал почти десять лет. Опытный человек, взвесив ее в руке, изумится: что же здесь писать столько лет?! Но так уж вышло. Соответственно, книга получилась неровной. Все взлеты и падения моего духа отразились в ней. Возможно, литературно это не приемлемо, но в этом много жизни.

Моя книга – философская книга. Ее следует воспринимать именно так. И в этом ключе она оказывается прекрасной и очень правдивой.

Если же вы вздумаете воспринимать ее как образчик художественной литературы, то вы получите еще одну, весьма посредственную книгу. Ведь я – не писатель, я – философ. Об этом следует помнить.

Первый том моей книги – он перед вами – философская автобиография, в некотором роде, «экзистенциальный роман». Сам предмет, о котором я повествую, потребовал этого. Ведь мне хотелось написать о человеческой жизни, о жизни, какой она является в действительности, а не какой она предстает в большинстве книг. В этом отношении, эта книга почти уникальна, поскольку она преодолевает множество табу и иллюзий европейского интеллигента.

Уже одно это способно вызвать равнодушие и отторжение – люди не любят, когда кто-то покушается на их привычное и успокаивающее, они не любят менять устоявшееся мнение. Но я верю, что рано или поздно моя книга будет востребована и оценена по достоинству. Как скоро это произойдет – зависит, в том числе, и от вас.

«Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»

Библия. Иезекииль. 18.

«Если верить Гомеру, Сизиф был мудрейшим и осмотрительнейшим из смертных. Правда, согласно другому источнику, он промышлял разбоем. Я не вижу здесь противоречия»

А. Камю «Миф о Сизифе»

«Каждый раз, когда мы говорим о некоторых общих чертах человеческого бытия, мы должны помнить, что можем говорить лишь о тенденции, но никогда о законе. Так или иначе, здесь всегда обнаруживается исключение из правила. Более того, не стоит забывать, что наша позиция – не абсолютная истина, но в лучшем случае, – лишь отдаленное приближение к ней»

Чухлеб С. Н.

«Онтология ментальных структур»

Книга первая. Теория выживания неприспособленных форм

Введение

«А с чего вы взяли, что я – интеллигентный человек? Я совсем не интеллигентный человек. Я злой и опасный человек, и способен на многое. Так что, держитесь от меня подальше!» – эта фраза вырвалась у меня однажды во время конфликта с соседями по даче.

Она понравилась мне, и теперь я часто цитирую ее, когда хочу охарактеризовать ту экзистенциальную революцию, которая свершилась в моей жизни.

Моя книга рассказывает об этой экзистенциальной революции. И не только о ней. Если бы я был обыкновенным, нормальным человеком, – а как бы я хотел им быть! – то просто наслаждался бы плодами этой революции. Но, к несчастью, я – философ. От этого «горба» мне, видно, не избавиться вовек. Как философ я склонен видеть за личной биографической ситуацией процессы, совершающиеся в культуре и обществе, отражением коих она и является. У меня есть некоторые идеи на этот счет, и ими я так же собираюсь поделиться в этой книге.

Действительно, когда-то я был интеллигентным человеком. То есть, я думал, чувствовал и поступал так, как думают, чувствуют и поступают миллионы и миллионы европейских интеллигентов. И я, так же как и они, читал умные, добрые книги. Читал и старался жить в соответствии с ними. И я, так же как и они, испытывал непонятный дискомфорт, пытаясь найти общий язык с теми, кто эти книги не читал и не собирается читать.

Более того, я приложил массу сил к тому, чтобы быть не просто интеллигентом – человеком с удовольствием пережевывающим нетленные ценности культуры. Я хотел стать одним из творцов этой культуры. Я хотел быть интеллектуалом – человеком, способным порождать новое. И я достиг своей цели.

Нет, нет, уважаемые, не стоит напрягать свою память. Вы все равно не обнаружите моего имени в золотом списке духовных благодетелей человечества. Его там нет. Не было. И, вероятнее всего, никогда не будет.

Дело совсем не в этом. Настоящий Мастер всегда знает, чего он стоит, вне зависимости от того известен ли он другим или нет. Известность – дело случая и созвучия эпохе. Я уверен, что хороших Мастеров в каждом столетии достаточно много. Просто одним повезло – их заметили. Они вошли в святы культуры. Другие же так и остались никому не известными фигурами.

Мне вполне достаточно чувствовать свою интеллектуальную силу и способность, чтобы считать себя творцом. И в этом отношении, я совершенно спокойно, с осознанием своего права вхожу в воображаемый салон, где беседуют Бах, Гессе, Кант и Аристотель. Вхожу, в то время как многие смущенно жмутся в прихожей, восклицая: «Да, кто мы такие, чтобы соглашаться или не соглашаться с таким ЧЕЛОВЕКОМ как Платон! Мы не имеем права его критиковать. Мы можем лишь благоговейно его изучать и почитать».

Дело не в этом.

Просто, однажды я обнаружил, что, достигнув высот интеллектуализма, я оказался в абсолютном одиночестве.

С детства меня поощряли к штурму все более возвышенных интеллектуальных вершин. В то время, когда мои сверстники дрались на улице, били футбольными мячами стекла, учились пить водку, играть в карты и любить девочек, я слушал Баха, читал Геродота и Достоевского. И окружающие говорили: «Умный мальчик! Не то, что эти...!» И я был горд похвалами.

Мне и в голову не могло прийти, что эти похвалы и одобрения неумолимо сплавляют меня в безмолвие интеллектуального склепа.

Кто знает, может быть, если бы я жил на Западе, где общество более стратифицировано, то все обошлось бы: от рождения до смерти я прожил бы в компании интеллигентных людей, в окружении любимых книг, любимых образов. Я мог бы с возвышенным видом рассуждать о категорическом императиве Канта, или с беспокойством и возмущением взирать на меховой воротник модницы и горько сожалеть о безвинно убиенной зверушке. Я мог бы... Ах, какое множество тихих интеллигентских удовольствий подстерегало бы меня на этом пути! И все они были бы одно заманчивее другого, и все они внушали бы мне мысль о не напрасно прожитой жизни, мысль о том, что и я трудился на «поприщах», и я радел о человечестве.

Все это могло бы быть, поскольку по самым достоверным свидетельствам, «вишневый сад», столь безвременно скончавшийся у нас, вовсе не был вырублен, а был спасен и в целостности перевезен на Запад и посажен там. Говорят, прижился!¹

Но я родился в России – в стране непосредственной и демократичной. Здесь мальчик со скрипочкой, весело возвращающийся с урока музыки, вполне может натолкнуться на компанию соседских уроков и преспокойно схлопотать в морду. Здесь интеллигент в одну секунду может быть забритым в солдаты и продолжить свои размышления о метафизике под мат и зуботычины офицера или под крики истязаемого «дедами» сослуживца.

Здесь интеллигент может десятилетиями бродить по жизни, так и не встретив родственную душу, и ощущать себя чужим и ненужным по отношению к большинству своих соотечественников.

Здесь... здесь многое может произойти и происходит с интеллигентом того, что никак не предусмотрено выпестовавшими его книгами! И многое из этого происходило со мной. Так что, однажды я обнаружил чудовищную отъединенность от большинства окружающих меня людей. Мне было неинтересно с ними, им было неинтересно со мной. Я не знал о чем говорить с ними, они не хотели говорить со мной. И многие из них внушали мне страх, ибо я знал, что не смогу защитить себя, если они захотят растоптать меня – слишком старательное поглощение того яда, что наполняет большинство наших интеллигентских книг, вытравило во мне способность ненавидеть обидчика, а, значит, и защитить себя.

Меня хватило ненадолго – десять лет пытки одиночеством, – и я капитулировал. Пока я не был интеллигентом, пока я был одним из многих – я жил в гармонии с этим миром. По мере же втягивания в мир духа, я становился все более одиноким, все более уязвимым со стороны мира. Меня прельстили духовной жизнью, обещая обретение мудрости. И мне вручили эту мудрость. Мудрость была самая что ни на есть настоящая – повсюду на ней пестрели факсимиле Платона, Христа, Достоевского и прочих фетишей любого интеллигентного человека. Но эта мудрость сделала меня несчастным и уязвимым. Что же это за мудрость, обретение которой влечет за собой не процветание и веселье, но горечь и тоску? И что это за цепи, что приковывают несчастных к этой тягостной мудрости?

Я часто слышал жалобы женщин и мужчин, что из-за их ума они не могут найти друзей и любимого (-ую). Их ум и начитанность, как говорят они, отпугивают людей, вызывают насмешки. Но им не приходит в голову отказаться от этого «ума» и этой начитанности. Сама мысль об этом привела бы их в ужас. Они предпочитают страдать. Горестно шествуя по жизни, они гордо несут как знамя крест духовности, на котором распяты.

¹ Это шутка. Мне пришлось пояснить ее, поскольку многие не улавливают здесь иронии. Если Вы тоже ее не уловили, то могу заметить, что Вы слишком серьезно настроены. Расслабьтесь!... Если же мой совет вызвал в Вас раздражение, то замечу другое – Вы держите в руках именно ту книгу, которая Вам нужна.

Я же не смог долго нести свой крест. Я капитулировал. Я усомнился в мудрости, усвоенной из книг, и сознательно решил поглупеть. Но как добиться этого? Не биться же головой о стену – так чего доброго проскочишь вожделенную меру глупости.

И тогда я решился спуститься обратно в когда-то покинутые мною долины растительной народной жизни. Десять лет я взбирался на вершины духовности. Десять лет я брел обратно вниз. Я не знаю, какой путь был для меня труднее. Когда я шел вверх, мой путь озаряли маяки европейской культуры, повсюду стояли указатели и толпы паломников виднелись и слева, и справа, и впереди, и позади. Вниз же я брел в полном одиночестве. У меня не было ориентиров, – похоже, никто до меня не совершал это снисхождение в «ад» сознательно и по доброй воле. О пути наверх повествовали сотни тысяч томов вселенской библиотеки, о пути вниз не было ни одного упоминания. Лишь Гессе в своем «Степном волке» туманно обыграл возможность такого пути.

И что же?!

Я прошел этот путь. Я спустился в долины растительной народной жизни. Я научился говорить на равных и с сантехником, и с бандитом, и с разбитной вульгарной девицей. Я научился быть счастливым и в их обществе. Но я не перестал быть интеллектуалом, философом. Меньше всего я заботился в своем путешествии об этом. Мысленно я пожертвовал всем этим ради обретения гармонии с миром. И в результате мой интеллектуализм не только не исчез, но, наоборот, он усилился и окреп. Просто он перестал быть похожим на интеллектуализм других.

Какой забавный парадокс! В начале своего пути я хотел научиться жить и думать так, как живет и думает безмолвствующее большинство. Изю всех сил я старался стать одним из многих, быть как все. И что же? В результате я живу и думаю совсем не так, как живет и думает девяносто девять и девять десятых всего человечества! Да, я обрел свободу. Я могу быть своим как в среде интеллигенции, так и в среде пролетариев. Я понимаю и тех, и других. Но моя философия, мое знание о том, как это возможно, оказались чужды и тем, и другим. И если пролетариям ее и не нужно понимать – им и так хорошо без всякой философии, то интеллигенции мое знание просто необходимо. Необходимо, как необходимо горькое лекарство тяжело больному человеку.

Я уверен, что если люди, читающие и пишущие книги, откажутся принимать это лекарство, если они не найдут в себе сил и мужества отказаться от любимых, освященных традицией идей и принципов, и не решатся заглянуть в бездну, что бурлит под фундаментом вселенской библиотеки, то при каждом социальном или личном потрясении они будут пачками лететь на помойку жизни с тем, чтобы там тихо и жалко расплзаться под холодным дождем и ногами прохожих.

Так что читайте – эта книга написана для вас. И она стоит того, чтобы быть прочитанной.

Но в этом чтении, вернее, в процессе понимания прочитанного, есть свои сложности. Их много – скажу пока лишь об одной. Та позиция, которая заявлена в этой книге, столь отлична от большинства философских, ценностных и экзистенциальных позиций, традиционно существующих в европейской культуре, что понимание ее, а уж тем более принятие оказываются весьма проблематичными. Я сужу об этом по опыту общения с коллегами, друзьями, знакомыми.

Всякое понимание строится на общности антропологических схем и мотивов. Мои собеседники вращаются в рамках схематизма существующей европейской культуры. И именно с этой позиции они пытаются понять и оценить мои идеи. Но эти идеи относятся, во многом, к принципиально иной схеме. Культурная и экзистенциальная несостыковка становится неизбежной. У моих собеседников не оказывается нужного набора ключей для понимания моей позиции. Тогда возникают диагнозы: «анархизм», «антисоциальная философия», «амор-

рализм», «цинизм», «распушенность», «разврат». И мне никак не удается объяснить, что эти оппозиции совершенно не применимы к моей культурной и философской схеме, что они имеют смысл в рамках традиционной европейской культуры, но абсолютно бессмысленны в моем случае.

Выступление Фрейда со своей теорией психоанализа породило у его коллег и современников культурный шок. У них не оказалось необходимого набора ключей для понимания принципиально новой позиции, понимания того, что она сохраняет и развивает существеннейшие посылки позиции старой и ради этого разрушает и отбрасывает то, что уже устарело и потому стало вредным. Один из коллег Фрейда на вопрос журналиста о том, что он думает о психоанализе, ответил, что этот вопрос не относится к его компетенции – оценкой психоанализа должна занимать не наука, а полиция нравов.

В подобной ситуации нахожусь и я с моей теорией. Либо ее не понимают, либо, поняв, остаются равнодушными. Но мне хочется надеяться, что, как и в случае с психоанализом, понимание и принятие возможны, что по прошествии десятков лет нынешние оценки моих современников будут выглядеть так же нелепо, как нелепо выглядит сегодня комментарий коллеги Фрейда.

Каждый текст требует соответствующего жанра. Жанр этого текста остался для меня загадкой. Если бы я мог оформить его в стиле научного трактата или в стиле философского памфлета, то я обязательно сделал бы это, и обрел бы спокойствие. Но само назначение и содержание моего произведения сопротивляются единству жанра.

Первая половина этой книги – рассказ, исповедь о тридцати годах моей жизни. Вторая половина книги – изложение философской позиции, родившейся в результате этих тридцати лет.² Это достаточно необычное сочетание. Но оно, я уверен, необходимо.

Однажды Ницше заметил, что каждая философская система – это голос инстинкта ее автора. Если это действительно так, то по традиции, философы оставляют во мраке кабинета свою жизнь и выносят на всеобщее обозрение ее интеллектуальные выжимки. Даже Сартр, мой любимый Сартр, вплотную приблизившийся к пониманию неразрывного единства жизни философа и его философии, скрыл от братьев по духу свою экзистенцию и выбросил им жуткий костяк ученого трактата «Бытие и Ничто». Здесь каждая строчка свидетельствует о его жизни. И здесь эта же строчка расчленена и взнудана учеными, занудными философскими категориями. Даже он не посмел нарушить устоявшиеся правила приличия. Философия – это почтенное солидное занятие. И если вы собираетесь при помощи ее озвучить своих «покойников», спрятанных в шкафу, то будьте любезны, тщательно прикройте это отвратительное шоу учеными одеждами философских категорий!

Я этого делать не собираюсь! Я и не могу этого сделать!

Судите сами.

Моя философская книга повествует о вещах, совершенно непривычных и неприемлемых для культурного европейского сознания. И если я ограничусь лишь строго философскими суждениями, то неизбежно окажусь непонятым и не услышанным.

В самом деле. Представьте себе среднестатистического интеллигента или, лучше, интеллектуала. Родился, учился, теперь учит других. Вот, он возвращается из библиотеки, где в очередной раз упивался божественным Платоном. На улице драка – пролетарии что-то не поделили. Полиция их разнимает, вяжет, с удовольствием, охаживая дубинками. Наш интеллектуал морщится, но продолжает путь – дома его ждет начатый трактат об эре милосердия, кото-

² Предисловие писалось тогда, когда я еще надеялся, что смогу уместить свой «экзистенциальный роман» в несколько десятков страниц. Я и не думал, что он разрастется до размеров целой книги! Теперь же, когда это случилось, я намерен изложить собственно философские идеи во втором томе моей книги.

рая давно была возвещена духовными учителями человечества и по всем признакам вот-вот должна наступить. Сегодня должно подробно написать о той ответственности, что ложится в виду этого события тяжелым, но благотворным бременем на плечи всех мыслящих людей.

Он обедает и направляется в кабинет. Но неожиданно его взгляд падает на книжонку, недавно вышедшую из печати – друг просил прочесть и разделить его негодование по поводу очередной безответственной выходки собрата-философа. Автор – какой-то Белхов. Совершенно очевидно – псевдоним. Мошенник не решился печатать эдакую мерзость под своим именем. Проповедуются ужаснейшие вещи! Мораль ниспровергается, духовные ценности обесцениваются, социальные устои злонамеренно подрываются. Наш интеллеktуал начинает подозревать, что автор не ограничился теорией. Кто знает? При таком ходе мыслей, возможно, он распустился до того, что развлекается грабежом прохожих и толканием старушек в общественном транспорте.

Прочтя эту интеллектуальную белиберду, наш апостол Разумного, Доброго, Вечного вздыхает. Мотивы автора для него прозрачны и очевидны. За тысячелетия развития культуры написаны миллионы томов, в которых осмыслены и развиты уже все возможные философские комбинации. Большинство из них следуют магистральной линии Разумного, Доброго, Вечного. Есть и отклонения, но и они, так или иначе, ассимилированы культурой милосердия – не все, но лучшие из них. Ничего нового сказать уже не возможно. А так хочется! Ведь университеты плодят и плодят все новых интеллектуалов. И они так и рвутся блеснуть своей ученостью, сказать свое слово, в надежде обрести успех, деньги и славу. Вот и норовит каждый по-своему изобрести очередную оригинальную философию – не важно о чем, лишь бы она не походила на предыдущее. Совершенно очевидно, что автор – один из этих безответственных краснобаев, которые ради красного словца продадут и мать и отца. Вздыхая о падении нравов, наш интеллеktуал закрывает книгу, бросает ее в стопку макулатуры и возвращается к своему трактату об эре милосердия.

На месте этого воображаемого интеллектуала может оказаться кто угодно. Это может быть и одна моя очень дальняя знакомая. Девушка красивая, духовная, романтичная, моралистичная. Она с придыханием говорит о Ницше и содрогается от омерзения и негодования, слыша мои философствования. Она всецело поглощена духовной жизнью и мир, по-видимому, мстит ей за это. Она красива, но одинока – у нее ничего не получается с мужчинами. То они якобы пугаются ее «ума», то она отвращается от их «глупости и вульгарности».

На мой же взгляд, она – классическая «динамистка»: распаяя мужчину дионисийской открытостью и эротичностью, она в самый неподходящий момент замирает от ужаса: «Какие же свиньи – эти мужчины! У них на уме только одно!» Сама она не подозревает об этом «динамизме», и, думаю, была бы крайне возмущена, услышав о нем от меня – моя подмоченная в ее глазах репутация подмокла бы еще больше. Еще более она была бы возмущена моим диагнозом: она испытывает бессознательный страх перед мужчиной, а ее объяснение своих неудач есть лишь рационализация, миф, рассказываемый себе и другим.

Совершенно очевидно, мир мстит ей за ее духовность! Вот ведь, как-то раз какой-то «ницшеанец» из автобуса догнал ее и совершенно беспричинно зверски избил. Должно быть, его грубая натура не выдержала присутствия рядом такого сгустка духовности!

Что сказала бы моя книга, кастрированная философской ученостью, этим людям? НИЧЕГО! Они закрыли бы ее, так и не вникнув в суть написанного. И это было бы правильно.

Ведь я пишу о человеческой экзистенции, о бытии человека в мире, о его страдании, о его надеждах и обретениях. Я собираюсь прочистить мозги интеллигенции, выбив из них ядовитые фантазии рафинированной духовности. И я собираюсь сделать это, опираясь не на книжное знание, рожденное в пыли библиотек. Мое знание вызревало в переплетениях моей жизни. Так с какой же стати я буду писать об экзистенции, и обращаться к экзистенции других, используя замшелые приемы книжной учености? Мой единственный шанс быть услышанным –

открыть свою жизнь и свои переживания в надежде найти живой отклик в жизни и переживании другого. Классические интеллектуальные артикулы здесь излишни.

Я знаю, что вступил на опасный путь. Чрезмерная открытость часто вызывает возмущение и агрессию. Нечто подобное я наблюдал во время своих психотерапевтических штудий. Иной раз на психотерапевтические группы, участником которых был и я, забредал человек случайный, непросвещенный, дикий, не продвинутый в области психологии. И когда он становился свидетелем откровенной беседы психотерапевта и клиента, его охватывали возмущение и злость: «Как можно так забыть, чтобы устраивать душевный стриптиз на глазах у всех! Единственное объяснение: больной человек». Подобная реакция легко объяснима в терминах и тезисах психотерапии, и она скорее свидетельствует о болезни возмущающегося, чем того, кто послужил причиной возмущения. Но от понимания этого мне не легче.

Ведь я собираюсь писать об очень интимных вещах. Необходимость такой откровенности я уже обосновал выше. И я отдаю свою книгу, свою плоть и кровь в совершенно незнакомые, случайные руки – любой, имеющий в кармане некоторое количество монет, сможет купить ее и отыгрывать на откровенности автора любые свои неврозы. Но что же делать! Я ясно вижу в своем воображении тех, кому эта книга нужна, необходима. И я верю в то, что она дойдет до адресата.

Если позволительно, то я хотел бы использовать образ из столь ругаемых и столь любимых «мыльных» сериалов. Невинная девушка выброшена волей обстоятельств в гущу жизни. Множество разбойников прельщаются ее сладостной беззащитностью, но, о, чудо! она избегает опасности и, наконец, попадает в объятия того, кто был предназначен ей самой судьбой.

Вот и я надеюсь, что моя книга, оставшись наедине с жизнью и, лишившись мощной и грозной защиты автора, все же достигнет, избегнув поругания и поношения, объятий того, кому она предназначена.

Но это не единственная опасность, подстерегающая меня на этом пути. Я – как тот путешественник, что пытается проплыть между Сциллой и Харибдой. Второе чудовище тоже достаточно устрашающих размеров и облика.

Моя книга заполнена образами реально живущих и живших людей. Они появляются уже на страницах этого предисловия. И это неизбежно связано с жанром и стилем моей книги, моего философствования.

Мой самый главный интерес был всегда направлен на самого себя, на тайну, сокрытую в недрах моей экзистенции. И эта «зацикленность» на самом себе не проистекает от нарциссизма и гнусной самовлюбленности. Нет, речь всегда шла о возможности выживания. Всю свою сознательную жизнь я пытался понять: как это возможно, что, обладая умеренным достатком, хорошей внешностью, изощренным умом и изрядной долей удачи, я несчастен и не в состоянии жить нормальной человеческой жизнью, жизнью, какой обладает большинство людей? Я специально спрашивал многих моих друзей и знакомых – легко ли им жить. Обычно они отвечают: «Нормально. Что-то дается само собой, что-то с трудом. Но, впрочем, все, как и у других людей». Так почему же у меня никогда не выходило так? Почему всякий раз мне приходится взбираться с тяжелым крестом на Голгофу жизни?

Эта тайна не дает мне покоя, и из попыток постичь ее, проистекает мой живой интерес к окружающим меня людям. Я надеюсь, что, поняв их, я смогу понять и себя. Ведь из многолетних занятий психотерапией я вынес убеждение, что при всей своей индивидуальности, люди очень похожи друг на друга – несколько десятков классических схем и безбрежное море их индивидуальных комбинаций.

Вот я и изучаю окружающих. Изучаю и понимаю, в то время как они проживают свою жизнь. Может быть, для меня было бы лучше вместо этого проживать свою жизнь? Вполне возможно! Но у меня это все равно не выходит. Так что выбора у меня нет.

Сегодня, к примеру, мы – компания друзей – играли в боулинг. Я тоже посылал шары в цель, но в перерывах разглядывал окружающих. Девушка, играющая на соседней дорожке, ожидая своей очереди, зажигает спичку и с десяток секунд водит ею по большому пальцу руки. Когда спичка догорает, она гладит палец и трясет им. По всему видно, что ей больно. Я замираю, – очередная тайна разворачивается перед моим взором! Мне не дано ее разгадать. Ведь стремительный поток жизни неудержимо несет нас в разные стороны. Все, что я успел подсмотреть – только эта маленькая сценка, зарисовка. Я могу лишь гадать относительно ее смысла, опираясь на свои знания и опыт.

Но многие неосторожно задерживаются возле меня достаточно надолго. Некоторые оказываются моими соседями по жизненному пространству. Некоторые становятся друзьями. И их тайны мне удается, как кажется, разгадать. Тогда эта разгадка становится фактом, частью моей философии человека.

И сегодня, вынося эту философию на суд читателя, я вынужден волочь за ней и цепь «невольников», несчастно попавшихся в мои силки. Я не могу поступить иначе! Ведь за каждым положением и утверждением этой философии стоят реальные люди, реальные сцены жизни. Галереи моей книги наполняются живыми людьми.

Я не монстр и не злодей. И меньше всего мне хотелось бы нарушить чью-нибудь конфиденциальность. Я предпринимаю отчаянные попытки сделать описываемых людей неузнаваемыми. Я испросил разрешения у своих друзей и близких использовать их образы и обстоятельства. Я принял псевдоним, с тем, чтобы через меня не «вышли» и на остальных. Но слишком много знакомых не дали мне такого разрешения, поскольку я не считал нужным или не имел возможности просить их об этом. И совесть грызет меня.

Может быть, частичным извинением и утешением для «анонимно» пострадавших, явится то, что я сам становлюсь первейшим предметом разоблачающего описания, и что жертвы принесены, как не высокопарно это звучит, ради служения истине?

Ранняя весна. Иду из магазина. Надо мной серое небо. Я смотрю на него и мысленно переношусь на двадцать лет назад. Я и тогда куда-то шел под этим пасмурным небом. Возможно, шел из школы домой, а может быть, к приятелю в гости. С тех пор многое изменилось. Я стал другим, я стал совершенно другим человеком. И теперь я вижу мысленным взором того юного, куда-то идущего, Белхова. Вижу, как он неопытен и глуп. И вижу все те события и испытания, которые его ожидают. Он совершенно не готов к ним – каждый раз ему придется импровизировать и набивать шишки, ему придется до всего доходить своим умом. Он неплохо начитан. Но мировая литература не поможет ему прожить его жизнь. Мир, о котором она повествует, сильно отличается от реальности, и рецепты, предлагаемые ею, не годятся здесь. Я не вижу ни одной книги, которая могла бы подготовить его к грядущим событиям. Этого юношу ожидает несчастная любовь, но в груди книг я обнаруживаю романы с хэпи эндом или с застрелившимся Вертером и отравившейся Бовари. Его подстерегает мир резкий и жестокий, но я могу предложить ему лишь умозрительные романы Достоевского. Ему суждены два брака, но ничего кроме добродетельного Толстого не приходит мне в голову.

Почему-то литература и философия не интересуются прозой повседневности – они все время витают в облаках. И единственная книга, которую я смог бы послать этому юноше через машину времени с чистым сердцем и твердой уверенностью – та, что лежит перед вами. Я уверен, что она облегчила бы его путь.

Да, больше всего мне хотелось бы, чтобы эта книга была прочитана тем юным Белховым, что жил на белом свете двадцать лет тому назад. Она ему пригодилась бы. Но рядом с ним не было такой книги. И этого уже нельзя ни изменить, ни исправить.

Эта книга является своеобразной Индульгенцией. Приобретая ее, вы покупаете не просто философский текст, вы приобретаете Разрешение.

В самом деле.

Кто определяет правильность поступков, чувств и мыслей человека? Охотников делать это множество. Но в большинстве своем они – наглые узурпаторы, алчущие власти над другим человеком. Разумно слушать лишь тех, кто имеет на это ПРАВО.

Право оценивать верующего человека имеют жрецы. И я пока не собираюсь покушаться на эту власть. Хотя... при случае с удовольствием торпедирую их царство.

Но к кому могут прислушаться те, кто не нуждается в жрецах?

Все нормы, которыми руководствуется человек в своей жизни, проистекают из двух источников. Либо это Традиция, либо Разум. Традиция – вещь сомнительная, ибо времена меняются, и то, что хорошо было вчера, сегодня может оказаться подобным яду. Остается Разум. Но кто у нас является специалистом по разуму? Очевидно, что это не ученый, не писатель и не художник. Каждый из них занимается своим конкретным делом, в котором Разум представлен лишь отчасти. И только философ исследует Разум и его проявления в целом.

Таким образом, наместником Разума на земле является философ. То, что связано им на земле, то связано и на небе...

И я, как философ, говорю вам: «Вы свободны. Делайте то, что считаете правильным и уместным». Купив книгу, вы купили РАЗРЕШЕНИЕ у того, кто имеет право дать это разрешение. Если же кто-то мешает вам быть самим собой, занудно поучая вас и пугая запретами, то отправляйте его прямо к философу Белхову. Скажите ему, что вы – белховианец, и что Белхов дал вам разрешение поступать сообразно вашему пониманию собственного блага. Пусть этот человек сначала опровергнет Белхова, а потом уж приходит учить вас. Уверяю, что зануда больше не вернется, ибо он навеки застрянет в философском споре со мной.

Значит ли это, что я даю вам разрешение на зло и на насилие? Я не люблю насилия и не одобряю зла, необоснованно причиняемого ближнему. И я – так же свободен, как и вы. Следовательно, я могу и не давать вам право на эти пагубные вещи.

Этот текст ближе всего по жанру к философскому эссе. Для меня это означает: я могу говорить о вещах, по теме относящихся скорее к художественной литературе – главное, чтобы мой язык не внес диссонирующего резонанса; и я обязан излагать сложные философские конструкции простым, понятным языком, максимально избегая специальных терминов; и, самое главное, я могу совмещать первое со вторым в единое целое. Посмотрим, как это у меня получится! Ведь здесь таится главная опасность. Я философ, я – не писатель. И если я буду писать о философии корявым ученым языком, то это мне простят и спишут на ученость текста. Но если, говоря об очень живых вещах, о вещах, на которых издавна специализируется художественная литература, я не смогу быть литературно приемлемым, то этого никто и никогда мне не простит. И даже если моя книга будет сообщать одни лишь абсолютные истины, то и в этом случае она не сможет искупить недостаток литературности.

Честно говоря, я не чувствую себя уверено на этом поле – поле литературы. Я знаю себе цену. Я – отличный философ. Уверенность в этом так сильна, что даже если бы сам Кант скептически отозвался бы о моем философском тексте, это не смутило бы меня. «В Ваших интересах было бы оценить мой текст более высоко – я думал, что Вы более умный человек» – ответил бы я.

Но в области художественной литературы я чувствую себя весьма уязвимым. В страхе и сомнении отправляюсь в это путешествие.

Но, впрочем, довольно предисловий! Сказанного вполне достаточно. Слишком длинное предисловие подобно затянувшемуся кокетству – становится скучно и неловко. Читайте и судите сами. Читайте – вы не пожалеете о затраченных усилиях. Такой философской книги еще не было!

Часть 1. Экзистенция

Долгое время я не понимал и не принимал экзистенциальной философии. Ее онтологические, гносеологические и антропологические экскурсы отторгались мной как ложные и фантастичные. Экзистенциализм был для меня еще одним видом рационализированных фантазий, каких много развелось в XX веке. Этот стиль философствования оскорблял мою святую любовь к истине, требующую непредвзятости холодного рассудка и строгости в следовании фактам. Его суждения о человеке и жизни были непонятны мне, ибо казалось, что экзистенциалисты находят проблему там, где ее нет вообще.

Я и сегодня могу предъявить эти обвинения некоторым экзистенциальным системам. Некоторым, но не всем, ведь однажды я почувствовал, что экзистенциализм – это единственный язык, посредством которого я могу выразить то, что меня мучает, и который позволяет мне найти выход из ловушки, расставленной жизнью.

То, о чем я буду говорить, может показаться кому-то мелочью, не стоящей внимания серьезного человека. Мои экзистенциальные катастрофы могут быть восприняты им как обвал в кукольном домике, а мои победы – как курьезные триумфы «подростка», только начинающего жить. Ведь посмеялся же однажды С. Аверинцев над наивностью Германа Гессе, заявив что «...и в зрелые годы, в пятидесятилетнем возрасте «ребра и беса», Гессе курьезным образом сохранил нечто от представлений мальчика из благочестивой семьи, – представлений, позволяющих человеку, засидевшемуся в кабачке, предпринявшему эскападу в ресторан или танцевавшему с незнакомой женщиной, не без гордости ощутить себя избранником Князя Тьмы; читатель не раз почувствует это даже в умном романе «Степной волк»». ³ (Ах, наш насмешник и представить себе не может, какая оглушительная экзистенциальная катастрофа предшествовала этой эскападе и насколько дорого она стоила Гессе!)

Но то, что кому-то может показаться мелочью или курьезом, было тяжелой проблемой, высасывающей из меня жизнь и обрекающей на смерть. И у меня есть подозрение, – нет, уверенность, что это есть не только моя судьба, но удел многих, слишком многих.

Однажды мой давний друг сказал: «У Сергея вся философия строится на том отчаянном обстоятельстве, что его не любят девушки». В какой-то мере, это верно. Но я бы уточнил. Изрядная доля моих экзистенциальных размышлений была спровоцирована тем, что меня любили не те девушки, что я хотел бы.

Я мог бы скрыть это обстоятельство, в страхе предстать перед другими в неприглядном свете. Я мог бы оправдать его почтенным рассуждением о том, что несчастная, безответная любовь – это серьезная проблема человеческой жизни, обнаруживающая пределы экзистенции. Но я не буду этого делать, ибо убежден, что и подобные обстоятельства могут быть настоящей удавкой, затягивающейся на шее, и что попытка ее перерезать может быть достойным источником и предметом экзистенциальной философии.

Я настаиваю на том, что экзистенциальная философия есть ответ тому, кто не нашел в научной теории и в системах метафизики достойного места своему частному, возможно даже, бытовому случаю. Я не собираюсь облагораживать свой случай, я не собираюсь наполнять его вселенским содержанием и значением. Мне жаль Кьеркегора, который использовал свою импотенцию как повод еще раз призвать человека к Богу. Мне противно, что философия уже давно забыла о земле и витает в небесах, а если и спускается на землю, то лишь для того, чтобы и здесь разыграть божественную комедию. Я хочу мыслить о человеческом повседневном и ради этого человеческого повседневного.

³ Здесь цитата заканчивается. Приходится специально отметить это, поскольку, как выяснилось, никому из читающих не удастся правильно определить место окончания цитаты. Вины читателя в этом, конечно, нет.

Для меня экзистенциальная философия – это не увлекательная игра, и, тем более, не почтенная работа для философского разума. Это счастливо обретенное средство спасения, соломинка для утопающего в стремительно закручивающемся водовороте жизни. В основе экзистенциального дискурса лежит экзистенциальный кризис. Вне его экзистенциальная рефлексия невозможна и бессмысленна. Без такого кризиса она – либо лукавое мудрствование, либо явная патология.

А причиной экзистенциального кризиса могут быть любые обстоятельства. Они могут выглядеть как пустяк или блажь, но в действительности они всегда есть все разъедающая язва внутри экзистенции. Открытие и преодоление этой бреши – единственно стоящая реальная задача экзистенциальной рефлексии.

Кстати! Все же поясню значение слова экзистенция. Правда, место для пояснения выбрано мной несколько странно – ведь я уже использовал его десятки раз выше. Более того, это пояснение является вставкой, сделанной при пятом редактировании текста.

Все это отражает мои колебания по поводу необходимости пояснять термин «экзистенция». Я и сейчас не очень уверен в уместности такого пояснения.

И дело вовсе не в болезненной нерешительности автора. Вопрос о пояснении термина «экзистенция» по сути, есть вопрос о круге моих читателей. На кого я мысленно ориентируюсь, выстукивая двумя пальцами буквы на клавиатуре?

Реально, это лишь несколько знакомых мне людей. По сути, вся книга – это актуализация мысленного диалога с тем или иным реально живущим человеком.

Но когда я пытаюсь обобщить всех этих людей, то выходит некоторая абстракция – интеллигенция, люди, читающие и пишущие книги. В первую очередь, конечно, это философы и люди, склонные к размышлению. Им пояснять термин «экзистенция» не нужно.

Но хочется захватить и более широкий круг интеллигенции. Чем больше читателей, тем больше денег и известности.

Профанировать свою книгу не хочется. Но пускать ее в ночной полет совы тоже жалко. И я вновь и вновь колеблюсь меж этими крайностями. При этом перед моим мысленным взором стоит моя подруга – дама интеллигентная, но книг почти не читающая: «Слушай, извини, пожалуйста, еще раз напомни мне, что такое «экзистенция»?» – просит она меня.

В самом широком смысле, «экзистенция» – бытие-человека-в-мире, существование, разворачивающееся в мире, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно, в этом значении употребляет этот термин большинство экзистенциалистов. И это мне подходит.

К этому смыслу я добавляю лишь акцент на противостоянии экзистенции и разума. Если совсем просто, возьмите свое существование в мире, отнимите от него все, что вы думаете по этому и другим поводам, и вы получите мое понимание экзистенции.

В первых главах своей книги я хочу рассказать о своем варианте экзистенциального кризиса. Рассказать о том, как он возник и о том, как был преодолен. Необходимость такого рассказа, такой «исповеди» я уже обосновал во введении. Добавлю лишь одно соображение. У начала каждой культурной эпохи лежит та или иная философская исповедь – это и «Исповедь» Августина, и Руссо, и Толстого, и Сартра. Даже Декарт счел необходимым внести автобиографические главы в свое «Учение о методе». Возможно, эти люди чувствовали, что вторжение нового видения мира и человека нуждается в определенном экзистенциальном обосновании.

И если моя уверенность в том, что в последние сто лет происходит формирование нового типа культуры, – а именно об этом моя книга – оправдана, то вполне уместно создание еще одной «исповеди», открывающей и поддерживающей этот процесс.

Все сказанное пока лежит всецело в области философского теоретизирования. Перейдем же к сути.

Проблема «начала» – почти неразрешимая проблема. С чего следует начать экзистенциальную исповедь? С рождения? С первых кадров жизни, застрявших в памяти? Я не знаю. Впрочем, я свободен начать с чего угодно. Если что-то и погубит успех моей книги, то это будут явно не первые страницы, ее открывающие. Поэтому начну с того, что у меня в данный момент под рукой – с эссе, которое можно озаглавить как

Открытие, сделавшее меня взрослым

У взрослых есть много отличительных черт. Так много, что ребенку, порой, кажется – перед ним просто существа иного рода. Конечно, он знает, что сам когда-нибудь станет взрослым. Знает, но верит в это с трудом. Здесь перед ним ТАЙНА, которая так никогда и не будет раскрыта – он сам не заметит, как станет взрослым. Взрослым же такие вопросы не интересны. Они поглощены феноменологией своего существования.

Я же по роду своих занятий и по экзистенциальной необходимости вынужден спрашивать себя о том, как я стал тем, что я есть. И спрашиваю не потому, что доволен собой. Наоборот, моя натура тяготит меня. Она – крест, который я вынужден втягивать на Голгофу жизни. И попытка понять скрытую логику моей жизни таит для меня надежду на изменение.

Итак, я вопрошаю. Ответы приходят не сразу. Как правило, вопрос повисает в пустоте привычных представлений и знаний о своей жизни, которые, по сути, есть лишь миф. Но внезапно приходит озарение в виде какой-нибудь картинки из детства, слов родных и близких, обращённых когда-то к маленькому Серёже.

«Кем ты хочешь стать?» – вопрос взрослых, неизменно преследовавший меня на протяжении всего моего детства и юности. Потом уже меня спрашивали: «А чем Вы занимаетесь? Ваша профессия?»

Этот вопрос я помню с самых первых лет жизни. Сначала я удивлялся ему: зачем мне кем-то становиться, когда мне и так хорошо! Смысл вопроса был просто непонятен, он вторгался в мое пребывание на этом свете как нечто чуждое и абсурдное. Я искренне отвечал: «Не знаю!» Взрослые, а это, как правило, были друзья и знакомые родителей – сами родители, похоже, так же не очень-то задавались этим вопросом – разочаровано и удивлёно ахали и услужливо подсказывали мне: «Лётчиком? Космонавтом?» Я примеривал на себя эти занятия, находил их вполне приемлемыми и, чтобы не разочаровывать взрослых, соглашался, что именно космонавтом мне и хочется быть. Но при этом я по-прежнему не понимал, чего же они от меня хотят.

Значительно позже, когда я уже привык к вопросу, я стал осваиваться в этом гипотетическом пространстве: все взрослые имеют занятие; я сам когда-нибудь стану взрослым; следовательно, то же буду иметь какое-нибудь занятие. Но это должно было произойти так не скоро, что я совершенно не заботился об этом – мне казалось, что моё дело обнаружится как-то само собой.

Но пока я должен был отвечать на постоянно задаваемый вопрос: «Кем ты хочешь стать?» Очень скоро я обнаружил алгоритм ответа: надо подумать, кто из взрослых мне большего всего нравится, и принять эту личину на себя. Так я начал отвечать: «Хочу быть клоуном или солдатом!» Заявление, что я хочу быть клоуном, не пользовалось популярностью, ибо оно, по мнению взрослых, свидетельствовало о моей незрелости. Заявление о солдатстве также как-то воспринималось с недоумением.

Я не мог понять, что так смущает взрослых, ведь я называл вполне реальные профессии. Но бабушка, женщина непосредственного ума, растолковала мне: «Клоун – это дурак, который потешает людей. Над ним все смеются, и никто не воспринимает его всерьёз. Солдат – человек тоже мало стоящий. Семеро наваливай – один тащи» Последнюю фразу я не понимал – я вспомнил и понял ее смысл лишь в армии – но катастрофичность её значения улавливал отчёт-

ливо. Я был в растерянности. Мне не хотелось огорчать взрослых, но врать тоже было неинтересно. Неожиданно пришло озарение: «Бабушка, а офицером быть хорошо?» – «Конечно, внучек! Уважаемый человек, начальник, зарплата хорошая. А жить, Серёжа, надо так, чтобы всегда своя копейка была в кармане» Я не стал спрашивать, почему в кармане должна быть копейка – монета вздорная и никчёмная, а не рубль или, положим, пять рублей, но суть усвоил сразу. Теперь я отвечал взрослым на их дурацкий вопрос, что хочу быть офицером. Этот ответ им нравился, и я получал изрядную долю похвал. Ради этого положительного эффекта я сам стал затевать разговоры на эту тему и в нужный момент вворачивал про своё будущее занятие. Тем более, выяснилось, что таким способом можно поделиться с взрослыми моим восхищением военным делом. Но пока это была всё ещё игра – был вопрос, был и ответ, который всех, в том числе и меня, успокаивал.

Вообще-то, первые семь лет своей жизни я прожил довольно счастливо и вольно. Огорчала меня лишь необходимость ходить в детский сад – ранние пробуждения и детсадовская дисциплина мне не нравились. Когда перед школой я избавился от этого «наказания», счастью моему не было пределов. Целое лето я резвился на воле. Первый тревожный звонок – мне зачем-то надо было идти записываться в школу. Я долго откладывал это скучное мероприятие, пока мама не отвела меня насильно.

С первых же дней школы я понял, что попал в очень неприятную историю – образование оказалось сущим адом. Каждый день был расщеплён на две неравных части: время бесконечных мук, страхов, унижений и время свободы. Моим самым любимым моментом недели был субботний вечер. Казалось, он был окрашен в волшебные тона и манил таинственной неопределённостью свободы. Воскресенье было уже омрачено следующим днём.

Муки, страхи и унижения в школе были следствием моей плохой учёбы. Я не был тупым мальчиком – первые шаги в образовании дались мне неплохо. Но каждый последующий шаг требовал упорного труда. К методичному же труду я не был приучен. С каждым годом я учился всё хуже и хуже, и вскоре превратился в презираемого троечника – пустое место, от которого не стоит ждать чего-либо путного.

Я был уязвлён, если не растоптан. Я и сейчас уязвлен. Уязвлен настолько, что иной раз у меня возникает страстное желание прийти в свою школу и продемонстрировать всем презиравшим меня учителям их человеческую глупость – из никчемного двоечника вышел ученый со степенями и званиями, человек, создающий то, что они преподносят своим подопечным как главное сокровище цивилизации. Единственное, что останавливает меня в этом желании, так это мысль, что учителя мои уже умерли, а если и живы, то вряд ли вспомнят меня.

Я был уязвлён, если не растоптан. Но понимал ли я это? Конечно, нет. Сегодня, взирая на прошлое с вершин своей блестящей рефлексии, я многое вижу там ясно и отчётливо. Если, конечно, это не иллюзия. И то состояние сознания, которое я нахожу у себя в тринадцатилетнем возрасте, представляется мне мутной стоячей водой, напрочь лишённой какого-либо проблеска осознания.

Впрочем, такое состояние естественно для большинства людей. В этом замечании нет насмешки или презрения. Если в нём и есть какое-либо чувство, то это зависть. Человек не рождён для рефлексии. Основные ментальные процессы происходят бессознательно. И это его растительное существование есть большое счастье. Счастье, которого навсегда лишены люди с развитой рефлексией. Они поддались соблазну ума и навсегда выпали из того мутного трагического и счастливого потока, который и есть жизнь. Они отвечают на это презрением и насмешками, и похваляются обретенной мудростью. Но это всё – лишь уловки, изобретенные, чтобы скрыть от себя и от других абсолютную смерть, сковавшую их существование. Теперь и я нахожусь среди них и вижу полную тщету предлагаемой мудрости – этой горькой приманки для новых жертв царства духа. Она не стоит того, чтобы ради неё оставлять долины жизни.

Я действительно мало что осознавал тогда. Но даже если бы и осознавал, то, вряд ли бы смог что-нибудь изменить.

Впрочем, к этому времени относится начало моей борьбы с самим собой. Борьбы, которая сопровождает и отравляет моё существование вот уже двадцать лет. Началась она с попыток что-то изменить в ужасном положении ученика-троечника.

Время от времени, возвращаясь из школы и испытывая муки унижения и угрызения от очередного школьного «позора», я с большим воодушевлением строил планы о том, как начну регулярно и прилежно готовить уроки. Мечты о светлом безоблачном будущем, раскрашенном яркими красками почёта, уважения и восхищения, подстёгивали мою энергию. Но приход домой означал катастрофу. Бабушка ставила передо мной сковороду котлет или жареного мяса, я съедал всё это и, объевшийся, перекочёвывал на диван, где продолжал, зевая и потягиваясь, мечтать о замечательном будущем. Потом я шёл гулять, и развлечения с друзьями полностью поглощали меня. Время от времени, я вспоминал о невыполненном долге, но расслабление после мучительного школьного утра казалось столь необходимым, а время до вечера – столь бездонным, что я всячески оттягивал момент унылого выполнения домашнего задания. Наконец, поздно вечером я приходил домой и с ужасом понимал, что всё потеряно – я устал, хочу спать и времени уже не осталось. Тогда я ел и садился к телевизору.

Иногда, мне удавалось сделать несколько удачных шагов на пути исполнения долга, но восторг от удачи прямо-таки сметал меня со стула, и в ликовании я забывал о необходимости продолжения усилий. Через некоторое время я обнаруживал, что вновь нахожусь в прежнем положении бездельника.

Я вновь и вновь штурмовал самого себя, вновь и вновь сползал к исходным позициям. Я не мог справиться с собой, хотя и очень хотел этого. В те годы, понимая, что ни мама, ни отчим – люди слабовольные – не в состоянии мне помочь, не в состоянии сломить моё своеволие, я мечтал о «капрале с палкой», который извне привнёс бы то насилие надо мной, которое ни я, ни родители не в состоянии были совершить, и приучил бы меня к упорному труду. Но это были лишь мечты. «Капрала» в наличности не было. Так же как и отца. Вернее, отец был, но в те редкие дни, когда он навещал меня, он использовал меня для развлечения. И сейчас, оглядываясь назад, мне до боли жаль маленького Сережу – его одевали и кормили, развлекали и поучали, но он был одинок перед жизнью, которая уже прихватила его в свою мясорубку.

С тех пор, непрерывно продолжая борьбу с самим собой, я почти никуда не продвинулся. Все успехи в своей карьере философа, а они почти ничтожны по содержанию и почтенны по виду, я вынужден приписать своему таланту. И мне горько, что этот талант уходит на столь чёрную работу. Я часто спрашиваю себя: «Если ты достиг столь многого, занимаясь по несколько часов в МЕСЯЦ, то чего ты мог бы достичь, работая хотя бы по паре часов в день?!» Передо мной по-прежнему маячит светлое, если не великое будущее, но оно всё более и более отдаляется от меня, поскольку оно создаётся лишь трудолюбием.

Я не могу преодолеть себя и вот уже двадцать лет расплачиваюсь за это горечью постоянного присутствия в моей экзистенции фундаментальных фоновых чувств: бессилия, отчаяния, стыда и вины за невыполненный долг. Всё это выражается в бессознательной тревоге. Напряжение и тревога – фон моего существования.

К моим мучениям троечника вскоре прибавилась мука одиночества. Мои друзья дошкольной поры оказались разбросанными по разным школам и классам. Новых же друзей я обрести не смог. Я трудно находил общий язык со сверстниками, да и выбор мой был невелик. Отличники и хорошисты презирали меня, хулиганы-двоечники пугали – я прибился к небольшой компании троечников – ущемлённых, послушных и недалёких мальчиков. В душе я презирал их за трусость, глупость и полное отсутствие товарищества. Но сам был таким же.

Да, я плохо сходилась с людьми. Думаю, я просто робел и боялся других детей. И началось это очень рано. Почти у каждого есть первое воспоминание – картинка, которая запечатлелась

в памяти, именно, как ЕГО впечатление. Она сопровождается ощущением: «Это я. И я вижу то-то и то-то» Есть такое впечатление и у меня. Оно пронизано тоской и ужасом. Если и правы экзистенциалисты, говоря о «заброшенности», то я могу быть предъявлен как хрестоматийный пример этого положения. Мое первое осознанное, сознательное впечатление – ужас заброшенности в незнакомое, чужое.

Дело в том, что, кажется, в два года я заболел воспалением легких. Кажется, лежал в больнице. Если и лежал, то лежал один – так было заведено при большевиках. Но я не помню этого. Место воспоминания занято смутной тоской и ужасом маленького ребенка, лишенного присутствия матери. Потом меня отправили в санаторий на месяц или на два. Естественно, опять одного. И вот это я помню. Я сижу несчастный, подавленный. Вокруг бегают дети. Кажется, они играют. Один я с ужасом взираю на происходящее: «Где мама? Как я оказался в этом ужасном месте? Почему это все не заканчивается?» Наверное, именно так и должен чувствовать экзистенциалистский «заброшенный» в этот мир.

Сегодня же я задаю себе вопрос: «Если память моя не лжет и другие дети, действительно, играли вокруг меня, то почему не играл я?» Ведь если они играли, то, значит, они справились с этой ситуацией. Почему же не справился я? Может, они были старше меня? Я не знаю. Я могу лишь гадать.

Откуда эта робость? Откуда этот СТРАХ? Отец как-то вспомнил мою жалобу из той поездки: какой-то мальчишка повалил меня на землю и насыпал песка в ухо. Рассказав ему об этом, я горько плакал и умолял забрать меня с собой. Может, после этого я замкнулся, ибо испугался и не смог справиться с ситуацией. А может быть, все началось значительно раньше, тогда, когда мама отшлепала меня – младенца – за то, что я накакал на диван.

Я не знаю причин, но знаю, что с самого раннего детства был испуган миром и его обитателями. Может, именно поэтому я столь неохотно шел на контакт с ними.

С каждым годом отчуждение моё от одноклассников возрастало. Чтение книг, любовь к классической музыке и изошрённое искусство игры в солдатики только способствовали этому отчуждению. Я оказался в ловушке одиночества.

Сейчас я вижу, что к тринадцати годам у меня сформировался устойчивый комплекс неполноценности. Частично я осознавал это и тогда, но частично. С каждым годом этот комплекс разрастался, а жизнь моя умаялась. Но неожиданно был найден «выход» – я был обольщён миром духа!

Дело в том, что среда, в которой я рос, была крайне неоднородна. Меня окружали в большинстве своём очень простые люди, обладающие невысоким уровнем культуры. Мать и отец были интеллигентами в первом поколении и так же не обладали особыми культурными навыками. И лишь отчим являл собой потомственного интеллигента, кабинетного учёного-гуманитария и общепризнанного авторитета целой группы настоящих интеллектуалов. Его мир был для меня загадочен и прекрасен. И, главное, я чувствовал в нём себя в совершенной безопасности. Здесь я избавлялся от мучительного страха, фоном сопровождавшего меня в школе и на улице. Здесь не было хулиганов, злых мальчишек и строгих учителей.

Когда к отчиму приходили друзья или когда мы отправлялись к ним в гости, то я погружался в атмосферу духовной жизни: интересные люди, интересные разговоры, интересная обстановка. Отчим входил в этот мир как хозяин – ещё бы, ведь он был гением, который лишь по недоразумению и из-за происков тоталитарного режима пока не вошёл в анналы истории! Мы же – мама и я – проникали туда как жена гения и пасынок гения. Такой характеристики вполне было достаточно для того, чтобы занять в этом мире удобную позицию и зачарованно наблюдать происходящее.

Но, к несчастью, я рос и безнадежно вырастал из роли пасынка гения. Вырастал, как вырастают из детских штанишек. Теперь взрослые, умные дяди и тёти, стали поглядывать в мою сторону с немим вопросом: «Кто это, и есть ли у него право находиться среди нас?» Время,

когда меня можно было провести без билета в кино, театр, автобус и в общество «небожителей» прошло. Теперь я должен был сам предъявить билет, удостоверяющий моё право находиться среди интеллигентов. Я должен был внести плату.

Пропуском в этот мир был интеллект, а он у меня как раз в это время явственно обнаружился. Я много и результативно читал, проявляя определённые способности в гуманитарных науках. Кроме того, я любил классическую музыку – а это было хорошей рекомендацией в глазах интеллигентного сообщества.

Пока я ещё не понимал, что билет уже у меня в руках. Я читал книги и слушал музыку лишь потому, что это доставляло мне удовольствие. Я делал это непосредственно! Так же непосредственно, как играл в солдатики.

Но очень скоро я понял, что в глазах взрослых эти два занятия – не одно и то же. Чтение книг и любовь к музыке – это признак моей причастности миру духа. Игра в солдатики – всё более подозрительное занятие, наводящее на мысль, что мальчик не собирается взрослеть. Сергея, читающего Шлоссера и восторженно слушающего Баха, вполне могли принять в компанию небожителей. Серёжа с мешком солдатиков не был нужен ни кому.

В какой-то мере, родители сами подтолкнули меня к мысли о неприемлемости для серьезного взрослого мальчика игры в солдатики. Когда друзья отчима заставляли меня за этим занятием, то мама извиняющимся тоном поясняла: «Он не просто играет в солдатики, он разыгрывает великие исторические битвы!» Это было правдой – я действительно разыгрывал сражения древности. У меня было несколько сот солдатиков – старательно собранных покупками и обменами; у меня была многочисленная старинная артиллерия, выплавленная из свинца собственными руками; у меня были масляные краски, при помощи которых я создавал старинные мундиры «революционным рабочим и матросам», «буденовцам» и «солдатам Советской армии» – единственным видам солдатиков, которые можно было приобрести в магазинах большевистской России. Все это было прекрасно и достойно восхищения, но все это нуждалось в оправдании.

Необходимо было избавиться от увлечения, требующего оправдания. Я стыдился и скрывался. Сверстники, узнай они о моем пагубном увлечении, долго бы дразнили меня. Друзья уже давно отказались от этой игры, и лишь я все играл и играл, играл в глубокой тайне, сохраняемой закрытыми дверями и окнами.

Мне десять, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать лет – увлечение, требующее оправдания, по-прежнему цепко держит меня. Я стыжусь, стесняюсь, скрываюсь. Я с нетерпением жду освобождения – ведь взрослые говорят, что по мере взросления это проходит. Я очень хочу быть взрослым, но игра в солдатики свидетельствует для окружающих и меня, в частности, что я – все еще маленький мальчик.

И вот – чудо: игра в солдатики больше не интересует меня. Я счастлив. Я, наконец, стал взрослым. Я читаю взрослые книги и на равных рассуждаю с взрослыми о жизни. Позорная страсть искоренена!

Но было ли это естественным отмиранием детской забавы? Сейчас я сомневаюсь в этом. Через много лет, когда я уже вернулся из армии, поступил в университет, женился и развелся, я случайно попал в магазин детских игрушек. Взгляд мой упал на прилавок, и я увидел «викингов». Таких солдатиков никогда не было у меня в детстве. Их невозможно было купить в советском магазине. О таких солдатиках я мог только мечтать. Увидев их, я... я купил их! Мне было стыдно, я не знал, что с ними буду делать, я спрятал их от друзей, но я был рад этой покупке. Потом, при случае, я покупал и других солдатиков. Еще через много лет, когда я стал уже совсем другим человеком, человеком, раздающим РАЗРЕШЕНИЯ себе и другим, я попытался снова играть в солдатики. Это были муки импотента, и я бросил это занятие. Зато еще через несколько лет, я страстно предался многочасовым, многодневным, многомесячным играм в компьютерные исторические стратегии. Эти игры подобны запоям – невозможно оста-

новиться, а, остановившись, невозможно преодолеть тягу вновь погрузиться в них. Настоящая «зависимость».

Так было ли органичным мое преодоление «стыдной» игры в солдатики?

Чтобы стать своим в мире людей, живущих духовными интересами, я должен был что-то представлять в духовном плане. Это что-то должно быть солидным и почтенным. Каждому человеку, входящему в этот мир неявно задавался вопрос: «Ты кто?!» Если входящий отвечал правильно и в последствии доказывал истинность своего ответа – он оставался в этом прекрасном и удивительном мире.

Мне очень хотелось войти, вернее мне очень не хотелось уходить, и я понял, что должен стать кем-то. Оказалось, что факта моего рождения и существования на этой земле совершенно не достаточно. Я должен быть кем-то: историком, музыкантом, философом, артистом, политэкономом и т. д. Список был длинен, но не безграничен.

Открытие того, что я должен быть кем-то, сделало меня взрослым. За вход в мир взрослых, в мир самых лучших взрослых, я заплатил высокую цену – я потерял непосредственность. Отныне все мои занятия были посвящены тому, чтобы заявить и подтвердить моё право быть членом интеллигентного сообщества. Я обратил свой непосредственный интерес к художественной литературе, классической музыке и историческим книгам в механическое средство завоевания места среди интеллигентов. Я стал будущим историком. Затем, когда у меня появился интерес к философии, я уже привычным жестом обратил его в роль философа – человека, занимающего вершины мира духа, и выдающего билеты на вход в этот мир.

Я подозреваю, что с того момента, как я стал философом, я начал бессознательно мстить миру интеллигентов. Мстить за потерю непосредственности, мстить за то, что я был зависим от них.

Я обнаружил, что как философ я не нуждаюсь в удостоверении с их стороны моего права быть в этом мире. Более того, я сам могу давать и отнимать это право у любого из них. Я простил себе дурные манеры и незнание светского этикета – кто осмелится упрекнуть меня в их отсутствии?! Ведь все нормы культуры есть либо следствие традиции, либо установление разума – этого Верховного Божества всех духовно развитых людей. Традиция – предрассудок, который должен быть проверен как контрабандный товар на таможе Разума. Я же его представитель и наместник. Что «связано» мной, то «связанно» и Разумом; что отвергнуто мной, то низвергнуто в ад.

Более того, я пошёл дальше. Я отделил «овец от козлиц», интеллигентов от интеллектуалов. Интеллектуалы – это творцы культуры. Интеллигенты – её потребители и распространители. Они полезны, но столь убоги, что нуждаются в снисхождении, в одном только снисхождении.

Интеллигенты перестали быть для меня «небожителями». Они были низвергнуты в низины. Истинные же «небожители» – это интеллектуалы. И я – один из них!

Я достиг вершины духа и... переместился в царство смерти, ибо вершина оказалась по ту сторону жизни.

1

Итак, у меня появилась возможность стать интеллектуалом, возможность «превратиться из гадкого утёнка в прекрасного лебедя», покинуть злой и страшный мир не читающих и не пишущих книги. И я реализовал эту возможность. Первые же шаги на этом пути принесли мне обильные плоды. Теперь мои проблемы приобрели совершенно иной вид – они стали «решаемыми» проблемами.

Меня не ценят учителя – я стану известным ученым, и они поймут, как глубоко они заблуждались.

Я не пользуюсь уважением сверстников – они не могут быть значимыми для меня, ибо они дикие и злые. Они – лишь подобие людей, поскольку настоящие люди – это интеллигенты.

Я не умею общаться – это естественно, ведь общаться приходится по поводу недостойных и неинтересных вещей. В интеллигентном обществе этой проблемы для меня не существует.

Я не умею противостоять насилию – и это естественно, поскольку чужд дикости и зла; отвечать насилием на насилие, – значит, уподобляться тем «гориллам», которые покушаются на меня, надо быть выше этого. Зло и дикость подстерегают меня вне мира духа, здесь же я в безопасности.

У меня нет любящей меня девушки – это тоже вполне естественно: развратные, пустые, глупые женщины не в состоянии оценить меня; и мне они не нужны. Однажды я встречу ту, которая будет подобна мне, и мы сможем слиться духовно, и, может быть, физически.

Так мои недостатки, если не сказать, экзистенциальные уродства превратились в «достоинства», поражения – в «победы». Классическая схема! Если вам не удаётся жить нормальной, естественной человеческой жизнью, то вы всегда можете переqualificироваться в добродетельного, духовно развитого человека и достичь самоудовлетворения. Это тем легче сделать, поскольку официальная культура, проповедуемая в семье, учебных заведениях, книгах и средствах информации услужливо предоставляет вам набор абсолютных моральных, эстетических, социальных, духовных ценностей, на которые вы можете ориентироваться и, которые гарантируют вам уверенность, что вы сделали правильный выбор. Иные ориентиры отсутствуют, поскольку принадлежат либо немому, «безмолвствующему большинству», либо загнанному в подполье андеграунду.

Правда, вскоре обнаружилось, что с добродетелью тоже не всё ладно. В какой-то момент я увлёкся идеалами христианства и энергично занялся усовершенствованием себя и мира. Но очень скоро я обнаружил два удручающих обстоятельства.

Первое моё открытие состояло в том, что окружающие меня люди, свято веря в моральные абсолюты, реально живут по совсем другим законам. Нет, они не были лицемерами. Просто, та часть их самих, которая знала и любила добро, совершенно не соприкасалась с той их частью, которая знала и любила блага жизни. Их сознание, а именно там и поселилась любовь к добру, было совершенно не в курсе их реальных дел. Человек нарушал правила добра и творил зло в полной уверенности в своей правоте и «хорошести». И что было более всего болезненно для меня, этим «раздвоением» страдал мой отчим – человек, писавший труды о свете христианства и мечтающий о полном торжестве добра в мире, человек, открывший мне истины христианства.

Нет, не стоит подозревать что-то действительно дурное в его делах – он не срывал шапки с прохожих и не выкрадывал кошельки у старушек в трамвае. Он был тихим, благожелательным человеком, всей душой жаждавшим любить «ближнего». Именно этим он и занимался, лежа на диване или сидя за письменным столом. Его старушка-мать полностью обслуживали все его бытовые потребности. Когда выяснилось, что она по старческой слабости уже не может мыть раз в неделю огромную коммунальную квартиру, в которой они жили, и более того, уже не только не в состоянии ухаживать за сыном, но сама нуждается в уходе – эта неразрешимая проблема разрешилась переездом к нам. Теперь моя мама стала ухаживать за всеми.

Я искренне верил в необходимость любви к ближнему, и этой верой я был обязан, прежде всего, моему отчиму. Но я никак не мог понять, почему он как христианин не делает выводов из своей веры, почему он не возьмет часть бытовых трудов на себя, хотя, теоретически, надо было брать не часть, а все труды – это было бы действительной, действенной любовью к ближнему. Когда я указывал отчиму на разительное противоречие между его лучшими, задушевнейшими идеями и его реальными поступками, он огорчённо жаловался другим: «Серёжа

ко мне плохо относится. Он не любит меня. Он говорит мне гадости». Либо же, припертый к стенке очевидной моей правотой, грозил покончить с собой, поскольку я полностью разрушил его душевное равновесие. И мама просила меня не беспокоить отчима такими беседами.

Вижу, как читатель, укорененный в добродетели и в вере, грустно кивает головой и сетует, что незрелая душа столь юного существа, обратившегося на верный путь, так рано подверглась соблазну чужого лицемерия. Он вздыхает, негодует, но в тайне убежден, что уж он то не таков, уж он то, хотя и не без греха, но не являет столь откровенное двоедушие. Может быть. Хотя я за тридцать пять лет своей жизни ни разу не встретил настоящего христианина. Нет, жизнь моя не протекала в вертепе среди разбойников и душегубов. Я был окружен теми же самыми людьми, что и остальные. Многие из них считали себя христианами. Но ни одного из них я не могу считать таковым. Более того, я утверждаю, что если я проживу с любым христианином пару месяцев в качестве его «тени», то по прошествии этого времени представлю длинный список «грехов», явно демонстрирующий его нехристианскую жизнь. Исключения возможны, но маловероятны. Естественно, это касается и всех остальных представителей различных систем «добродетели».

С недавних пор я шучу: «Если христианин, то точно окажется потом шельмой!» Конечно, это шутка, но что-то в последнее время она стала часто оправдываться. Сама эта шутка родилась в соответствующих обстоятельствах. Саму историю расскажу, может быть, в другом месте. Но суть ее такова.

Два человека рассказывали об одном происшествии совершенно противоположным образом. Явно, что один из них лгал и эта ложь представляла другого в невыгодном свете. Размышляя с другом об этой ситуации, я пошутил: «Постой, постой! Ведь К. – христианин и добродетельный человек. Уже одно это указывает, что шельма именно он!» Забавно или печально, но моя шутка попала в цель – лгал именно он.

Сегодня я не рассматриваю это обстоятельство – склонность к двойным стандартам – как приговор всему человечеству. Я вижу здесь существенную черту человека как такового, мало влияющую на его ценность.

Я стойко перенёс это открытие и понял, что дело распространения добра не столь лёгкое, как мне сначала казалось.

Второе же открытие было для меня более болезненным. Я обнаружил, что сам крайне далёк от того морального идеала христианства, который был для меня столь дорог. Сил же преодолеть это несоответствие я не находил. Как только я обращал внимание на себя, то в моих делах и мыслях обнаруживалось столько греховного, что ни о какой моральности не могло быть и речи.

Посокрушавшись, я смирился со своей «порочностью», немного умерил пыл в обличении «порочности» других, но остался верен добру.

Сейчас я спрашиваю себя: с чего это я так беспокоился о добре? почему так стремился быть добродетельным? Да, действительно, все мысли мои пронизывало желание быть добрым. Я старался выстраивать свои поступки по всем «правилам добра». И внешне и они подчас так и выглядели.

Но сегодня, читая дневники, я вижу в тогдашних своих мыслях очень мало альтруизма. Мысли были «недобрыми», но я их сдерживал и вытеснял знанием о том как «должно быть» и как «должно поступить». Пожалуй, мне и не надо было их сдерживать и вытеснять – я всё равно не смог бы поступить «зло». Для поступка, который я тогда расценил бы как злой, необходимо быть либо смелым, либо живым. Ни тем, ни другим я не был. Меня очень прельщали прибыли, получаемые от «злых» дел, но осмелиться на них я не мог.

Во-первых, мне казалось, что этим я дам право другим, совершить зло в отношении меня. Я боялся этого, ибо знал, что не смогу защитить себя. И внешне моральным поведением я старался умиротворить окружающих. Всегда тщетно! Ведь слабость провоцирует агрессию.

Во-вторых, я боялся, что другие скажут: «Он – плохой!» А я с детства старался быть хорошим. Ведь я с самого начала был послушным мальчиком! В меня так основательно вдолбили, что я должен быть хорошим, что даже тогда, когда большинство смеялось над моей «хорошестью», я не отрекался от нее, ибо знал, что перед лицом Высшего Вселенского Суда буду оправдан и награждён, а насмешники – наказаны.

Страх и комплексы были в основании моей моральности. С тех пор, как я избавился и от страха, и от многих комплексов, и от морали, я не раз с надеждой пытался встретить истинно морального человека, настоящего альтруиста. Но, увы! Все моралисты, попадающиеся на моём пути, ничем не отличаются от того моралиста, каким был я.

Я даже могу назвать вам признаки такого «лжеморального» человека: он «идейно» морален и всегда страшно негодует на «злых». Наличие идеологии, которая обосновывает мораль, всегда указывает на явно «вумственный» характер этой позиции – настоящий альтруист не нуждается в обосновании абсолютными ценностями своего поведения. Оно для него естественно.

Негодование же и ярость по поводу прибылей, получаемых «злыми», слишком явно указывает на то, что выражающий их ненавидит «злого» за то, что он осмеливается делать то, чего негодующий делать боится – не важно: идёт ли речь о поступке или о наслаждении его результатами.

Существовала и ещё одна причина моего псевдоморального поведения – тревога.

Это крайне примечательный феномен, о котором мне придётся говорить ещё не один раз. Пока же достаточно следующего: с младенческих лет я постоянно слышал о том как «должны быть» устроены дом, семья, отношения между людьми, вещи, организации, общество, мироздание. Мир идеалов властно вторгнулся в мою жизнь, – впрочем, он вторгается так в жизнь каждого, – и определял моё восприятие и отношение к жизни. «Так должно быть!» – этот императив, казалось, был начертан огненными буквами на небосводе. Если этого нет, то неизвестные, но ужасные беды неизбежны. Если же всё будет устроено так, как должно, то благо будет всем.

Тревога – неизбежный экзистенциал человеческого существования. Но идеалы, абсолютные ценности доводят эту тревогу до предела, ибо всякий раз выясняется, что все идет не совсем так, или совсем не так, как должно. Тот, кто слишком близко приближается к абсолютным ценностям, погружается в океан тревоги. Таков удел, прежде всего, интеллигента. Он тревожится обо всём: о порядке своей жизни, о жизни других, об общественном устройстве, о судьбе животных, о природе, о мироздании и о детях Гондураса, в особенности. Обычно интеллигент мало что делает для того, о ком и о чём он тревожится, но тревожится. Если же делает, то и тогда тревожится.⁴ Тревога – это его бич.

Мораль – это один из самых существенных механизмов, запускающих «электрический стул» тревоги. И я отдавал долгое время ей изрядную дань.

Для того чтобы спасти вселенную от гибели, я не сорил в общественных местах, не вытаптывал газоны, а старательно ходил по асфальтовым дорожкам, не курил, не пил и не вёл развратного образа жизни.⁵ И был крайне озабочен тем, что вселенная всё же погибнет из-за того, что другие ведут себя прямо противоположным образом. Когда же я пытался открыть им глаза на неминуемую гибель, ожидающую всех из-за такого поведения, меня называли занудой и психом. Но это не сбивало меня с «правильного» пути – ведь и великий Сократ погиб оттого,

⁴ Лучше бы он ничего не делал. Умный человек, родившийся в России, поймет, о чем идет речь. Это один из уроков, которые Россия действительно может преподнести остальному миру. Не соборность, не всепонимание, не всепрощение, не прочая интеллигентская дребедень являются мудростью России. Мудрость ее – в знании о том, как добродетель и «любовь» к ближнему приводят в ад.

⁵ Весьма характерная и типичная «связка» для европейского сознания. Помните, в фильме «День сурка» героиня, наблюдая, как Фил курит и «вредно», «неправильно» ест, обвиняет его в эгоизме.

что бичевал порок. Ныне же он оправдан и возвеличен. А его гонители пригвождены к позорному столбу.

Безумец! Нет, просто дурак! Ведь мудрое дзэнбуддистское изречение гласит: «И грех, и благословение пусты. Змея глотает лягушку. Жаба поедает червей. Ястреб питается воробьями. Фазан ест змей. Кот ловит мышей. Большая рыба пожирает мелких. И все во вселенной оказывается в порядке. Монах, нарушивший предписание, не попадет в ад». Мера добра и зла в этом мире неизменна. Люди не делают ничего того, что они не делали бы тысячу или десять тысяч лет назад. И все в порядке. Вселенная продолжает существовать.

Моё обращение к духу приветствовалось взрослыми. Я прослыл умным мальчиком. Мой отчим восклицал: «Кто бы мог подумать, что из этого толстого, тупого мальчишки, живущего растительной жизнью, выйдет юноша, увлекающийся классической музыкой и литературой, изучающий историю и философию!» Слышать это было лестно.

Но именно с этого момента – момента приобщения к миру духа – я оказался в том двойственном положении, в котором пребывал до двадцати пяти лет. Моя жизнь распалась на две плоскости. В одной плоскости я был полон духовности и общался с интеллектуалами «на равных». Это была моя «подлинная» жизнь. Но вместе с тем, в школе и на улице я вынужден был вести жизнь другую. Если бы мои сверстники узнали о том, что я есть на самом деле, то, мне казалось, непонимание и насмешки сделали бы мою жизнь невыносимой – они не поняли бы и не приняли бы моей духовной утонченности. Жестокий и вульгарный мир улицы ненавидел и презирал «умников». Я боялся их и притворялся, что я такой же, как они. Я постоянно чувствовал себя лазутчиком во вражьем стане. Я совершал «паломничество в страну Востока», но при этом вынужден был делать вид, что заинтересованно брожу по базарной площади, посещая бордели и кабаки. И чем больше я притворялся, тем больше презирал тех, перед кем притворялся. Это была животная, совершенно безмозглая толпа, напрочь лишённая духовности и добродетели.

В довершение моих мучений, обнаружилось, что я уже достиг того возраста, когда юноша начинает интересоваться девочками. Но девочки были ничем не лучше мальчишек. Бездуховность и разврат царили и здесь. Но отгородиться от них презрением уже было нельзя – инстинкт и возбуждённая книгами и музыкой чувственность требовали выхода. Но выхода не было. Моя первая, школьная любовь оказалась абсолютно несчастной.

Я был юн и желал всего того, что желают и любят юноши. Но этого у меня почти не было. Я с завистью косился на веселые жизнерадостные компании сверстников, я с жадностью слушал рассказы о них моего друга Глеба, но старательно делал вид перед собой и другими, что я выше этого. Естественно, виноград должен быть, просто обязан быть, зеленым, коль он недостижим для меня! Когда я попадал в такие компании, от испуга и стеснения я становился строгим, задумчивым и неприступным. Я становился «черной дырой» компании. Подозреваю, что окружающие чувствовали себя так, словно они устроили пирушку в присутствии покойника. Я же в тайне лелеял надежду: кто знает, может быть, ОНА присутствует здесь; может быть, ей так же неловко и трудно быть среди этих глупых, развратных людей; может быть, она заметит мою глубину и серьезность и даст знать о своем присутствии здесь.

Возвращался я с таких увеселений абсолютно несчастным.

Мне казалось, что я сознательно и добровольно занимаю эту позицию. Она освящалась и провоцировалась теми идеалами «духовности», что почерпнул я в книгах, – что хорошего в распитии вина, буйстве и разврате. Сейчас же, вижу, что страх и робость отгоняли меня от сверстников, делали меня таким напыщенным и серьезным. Я же подводил лишь нужную теоретическую базу, спасавшую мою положительную оценку самого себя.

Рядом со мной не оказалось никого, кто догадался бы мне помочь. А ведь меня окружало так много взрослых умных людей. Скорее всего, они не видели здесь проблемы. Совсем

недавно, я говорил с другом на эту тему – речь шла об общем знакомом, юноше. Я выразил беспокойство по поводу его, она же не нашла причин для такого беспокойства. Когда же я попытался более подробно изобразить ситуацию, проецируя свои юношеские переживания, и предложил ей представить, что это происходит с ее сыном, который хоть и малыш, но когда-нибудь тоже станет подростком и юношей, то она ответила, что не видит ничего плохого в том, что он посидит до двадцати с чем-то лет дома, поскольку ничего путного в этих компаниях все равно нет. Видно, сытый голодного не понимает – она-то не была обделена веселой жизнью в молодости и ее невысокая оценка компаний есть результат пресыщенности. Возможно, взрослые, что окружали меня тогда, рассуждали так же, как и этот мой друг.

А ведь помощь могла прийти только от них – я сам был не в состоянии понять, что происходит, и помочь себе. Я думаю, совсем не случайно то, что взрослые не видели здесь проблемы. Они были интеллигентами, и головы их были забиты идеями нашей культуры. А с точки зрения иерархии культурных ценностей – все было в порядке: мальчик много читает, слушает хорошую музыку, добродетелен. Компания же – вещь не только не обязательная, но и не предсказуемая, чреватая пороком и соблазнами.

В результате, я оказался в своеобразном экзистенциальном подполье. Естественно, что все мои экзистенциальные недостатки и неумелости развились в нем в болезненные уродства. Не случайно, что именно в это время Достоевский оказался глубоко созвучным мне писателем. Его герои стали для меня родными, ведь я тоже был человеком подполья. Конечно, я не был сластолюбцем и безбожником, вынашивающим идеи преступления, я был добродетельным моралистом и почти верующим, катастрофически отъединенным от сверстников.

Чтобы там не воображал Достоевский и его почитатели, я уверен, что он не понимал природы подпольного человека. Он остро чувствовал это состояние, но не понимал его причин. Достоевский был изрядным невротиком, и, думаю, весьма показательным, что наша культура так превозносит его. Подполье – это не проблема морали или веры. Подполье – это экзистенциальная и психотерапевтическая проблема контакта с другими людьми. Неистовые же мораль и вера – лишь болезненный симптом подпольного человека, оправдывающий и усугубляющий это нарушение контакта.

В шестнадцать лет я воображал себя то Раскольниковым, то Базаровым. Базаровым я был снаружи, Раскольниковым же – внутри. Надрыв и отчаяние – суть моего тогдашнего самоощущения. Но при этом, я осознавал «аристократизм» этого состояния – оно отделяло меня от сверстников и возвышало над ними.

Шестнадцатилетний юноша, чувствующий себя Раскольниковым – это очень грустное явление.

К окончанию школы мучения мои стали невыносимы. Я задыхался. У меня не было ни друзей, которые могли бы разделить со мной жизнь духа, ни любимой девушки, которая дала бы выход моему романтизму. Часами я грезил под музыку о прогулках по лунным аллеям с НЕЙ, и крайне неохотно возвращался к постылой реальности.

Теперь все мои надежды были связаны с поступлением в МГУ на философский факультет – только там я найду общество себе подобных и, наконец, перестану быть одиноким, перестану быть «белой вороной».

Но в МГУ я не поступил. Вернее, я не стал поступать вообще. Я счел себя совершенно не готовым к экзаменам.

Летние месяцы, проведенные на даче, были ужасны. Я окончательно свихнулся, я погрузился в отчаяние и душевное страдание. Десять лет я был в системе школы – теперь я предоставлен самому себе, свобода – это тяжелый груз. Друзья детства стали мне неинтересны, и я перестал общаться с ними. Школьная любовь оказалась несчастной – два года я таскался за Варей и изображал из себя байроновскую личность. Видно, я порядком надоел ей, коль под

конец она стала избегать меня. На выпускном вечере она танцевала с моим недругом и полностью игнорировала меня. С горя я танцевал всю ночь, танцевал сам с собой. Я думаю, это было забавное зрелище – я никогда не танцевал до этого и абсолютно не чувствовал своего тела. Все, должно быть, решили, что я сошел с ума – опьянение исключалось, так как было известно, что я не пью в принципе. На рассвете я ушел, ушел несчастный и совершенно разбитый. Я знал, что больше не увижу Варю, и у меня нет средств поправить мою несчастную любовь. Придя домой, от потрясения я начал писать дневник. Это была первая запись в дневнике, который я вел десять лет.

Ведение дневника было крайне симптоматично. Я начал его в тот момент, когда моя экзистенциальная болезнь полностью оформилась. Десять лет сумасшествия, десять лет экзистенциальной смерти – десять лет ведения дневника. Как только я выздоровел и начал жить, ведение дневника стало хлопотным и излишним. Теперь он хранится в письменном столе – драгоценная история болезни и выздоровления.

Осенью я пошел работать курьером в одну из канцелярий университета и записался на подготовительные курсы философского факультета.

К этому времени я был уже окончательно оформившимся интеллектуалом, то есть законченным психом. Я ворвался с распостёртыми объятями в общество учащихся на подготовительных курсах и обрушил на них всю тяжесть своих неудовлетворённых духовных и экзистенциальных потребностей. Я думаю, это было жуткое зрелище. Я жаждал интеллектуального общения и любви, и поэтому изводил сокурсников заумными речами, а девушек бестолковыми попытками понравиться.

Я был в полном неконтакте с окружающими и самим собой. Я не видел людей такими, какими они являлись, и не понимал, что делаю всё, чтобы столь необходимый мне контакт не состоялся.

После того, как я отпугнул всех, кого хотел привлечь, я с ужасом понял, что вопросы духа здесь мало кого интересуют. Я вновь оказался одиноким и непонятым. Достижение гармонии с миром откладывалось на неопределённое время.

Но зато теперь у меня был друг – такой же интеллектуал, как и я. Правда, в голове у него водилось меньше слов, чем у меня; и амбиции его были меньше, чем мои. Поэтому я обрушивал на него потоки мыслей, учил и просвещал.

В это время я окончательно уверился в своей гениальности. Меня посещали чудные и блестящие идеи. Поскольку размышление всегда опережало мое чтение, я часто и не подозревал, что эти идеи уже высказаны другими философами. Но если это и обнаруживалось, то лишь ободряло меня – я могу прийти к тем же выводам, что и великий философ! Я писал трактаты о мироздании, Боге, добре и зле, и, конечно, о человеке. Толстой и Достоевский были моими кумирами. Я воображал себя то Пьером Безуховым, то Родионом Раскольниковым. Я готовился открыть человечеству Добро и Истину. И тогда все те, кто пренебрегал мной – учителя, одноклассники, девушки, отвергнувшие мою любовь – поймут, как много они потеряли. Я готовился к реваншу – мир будет покорён моими философскими трудами.

Конечно, иногда мне встречались люди более талантливые, чем я. Они подсмеивались над моими претензиями и демонстрировали более глубокие знания. Ведь по большому счёту я был невежествен. Я и сейчас невежествен, и мои тексты – чудовищное смешение глубины, изошрённости и вместе с тем грубости мысли. Иногда мне кажется, что даже на самых лучших моих работах, работах, которые вполне достойны того, чтобы их прочитали, лежит печать ущемлённости. Но я больше не стесняюсь этого. Тогда же такие встречи были для меня трагедией.

Я помню абитуриента, которого звали Андрей. Он был образованней и старше меня. У него было то, чего никогда не было у меня – элитарное воспитание. А главное, я был уверен, что он нравится девушке, в которую я был влюблён, влюблен, как всегда, без взаимности. Отчаяние

было моим уделом. Я восклицал подобно пушкинскому Сальери: «Господи! Ну почему ты даровал ему лучшие способности, лучшее воспитание, чем мне?! Ведь он не любит Истину так, как люблю её я!» Но и тогда у меня была надежда, что мой разум всё же изощреннее, а, значит, будущее принадлежит мне, а не ему. И было очень обидно видеть, что ОНА не замечает этого.

Кстати, о НЕЙ.

Возможно, я был бы счастлив своими надеждами, но существование моё опять отравила несчастная любовь. Она училась вместе со мной на подготовительных курсах. Её звали Влада. И внешне она чем-то напоминала мне мою прежнюю возлюбленную.

Эта девушка оставила в моей жизни неизгладимый след. Я и сейчас иногда с грустью вспоминаю о ней. Любовь – то мучительное, но в месте с тем, и животворящее чувство, которое я утерять и больше не могу обрести. Теперь я свободен от этих мук, но, похоже, свободен и от ощущения полноты жизни.

Если бы я верил в сверхъестественное, то сказал бы, что свела меня с Владой сама судьба. Дело в том, что, устраиваясь работать курьером, я ошибся в отделе кадров дверью. Вместо того чтобы зайти в отдел, ведающий персоналом факультетов, я зашёл в отдел технических служб. На моё заявление, что я хочу работать на философском факультете, мне ответили, что там уже все места заняты и записали курьером управления инженерной эксплуатации. Философский факультет же, по их словам, вообще не имел должности курьера. Каково же было моё удивление, когда на университетском почтамте я услышал, как одну из присутствующих девушек назвали курьером философского факультета. Полный любопытства и понимания, что меня обманули в отделе кадров, я догнал её и познакомился. В первые мгновения её голос и лицо буквально оттолкнули меня. Я ещё посмеялся про себя: «Ты мечтаешь о девушке с просветлённым духом, а сам шарахаешься от внешности!» Нет, она не была красива, если исходить из общепринятых вкусов. Я неоднократно слышал удивлённые восклицания моих знакомых, когда говорил о своей любви к ней. Но всё же она была прекрасна.

Я давно подозреваю, что у меня весьма специфический вкус. В шутку я говорю друзьям, что рожден в утешение «некрасивым» девушкам.

В тот раз мы обменялись всего лишь несколькими словами, но вечером я в подробности описал эту встречу в дневнике – странное предчувствие было у меня.

Через неделю, придя на первое собрание слушателей подготовительных курсов, первой, кого я увидел там, была Влада. Более того, мы оказались в одной группе. Я уже желал этого и был рад.

В довершении всего, оказалось, что живём мы в одном районе и едем на работу по одному маршруту. Казалось, судьба намерено подталкивает меня к ней. Мы познакомились, и я влюбился.

Вроде бы, она симпатизировала мне, но я сам погубил то небольшое, что у меня было. Либо я пытался говорить с ней о философии, либо просто, молча преследовал ее, стараясь оказываться в тех местах, где должна быть она. При таких появлениях я делал вид, что не заметил её. Я принимал академическую позу и слишком громко заговаривал с кем-нибудь из присутствующих, стараясь продемонстрировать ум и остроумие, либо же изображал «байроновскую» личность – хмурился и молчал. Но, не смотря на все мои «выкобенивания», акции мои падали неудержимо. И чем меньше надежд на взаимность у меня оставалось, тем сильнее я загорался страстью.

Забавно, но в своих неустанных преследованиях Влады, я даже создал свою «мистическую систему встреч». За отсутствием каких-либо отношений, встречи с Владой были единственным топливом для моей любви. Они были очень важны и дороги для меня. Всякий раз, когда попытки встретиться ее оказывались безрезультатными, я вспоминал, что, наоборот, следует отказаться от намерения встретиться ее и заняться своими делами – тогда встреча становилась почти неизбежной. Опыт, казалось, оправдывал эту методику.

Все мои дневники того времени заполнены этим именем, описанием встреч и разговоров с ней. Разговоров случайных и коротких, как вздох умирающего. Но каждое слово или взгляд, подаренные мне, были драгоценны. И я спешил в подробностях перенести их на бумагу дневника, чтобы вновь пережить эти чудные мгновения. Больше всего, я размышлял о том, как она относится ко мне. Это удивительно! Теперь, когда я читаю эти записи, я ясно вижу сотни указаний на ее равнодушие ко мне, на ее отторжение и даже раздражение. Я старательно фиксировал все детали, но отказывался принять их очевидность. Я ничего не видел и ничего не понимал. Самый очевиднейший знак представлялся мне сомнительным, и я плодил вокруг него тучи умозрений. Так агонизировала моя надежда.

Когда я все же понял, что потерял её, то отчаяние толкнуло меня на решительные действия. Я признался в любви. Влада была возмущена: «Ты не имеешь права даже на мою дружбу, а осмеливаешься претендовать на нечто еще большее – на мою любовь!»

Господи, что я только не делал, чтобы подавить свою страсть! Я ругал себя, стыдил, сознательно совершал бестактные поступки в отношении Влады, в расчете сжечь мосты и не иметь более возможности подойти к ней. Я даже пытался ходить без очков, чтобы просто не видеть ее. Но все усилия были напрасны! Раз, после очередной встречи, мучимый отчаянием и ревностью, я вздумал привести себя в равновесие едой. Я достиг успеха в этом, но чуть не получил несварение желудка.

ПОЧЕМУ? Этот вопрос не давал мне покоя. ПОЧЕМУ? Ведь теоретически нет никаких препятствий тому, чтобы Влада ответила мне взаимностью. Ведь я мог оказаться абсолютно в ее вкусе. Статистическая случайность! Мне выпал несчастливый билет. Чистая статистика, но эта статистика раздавила меня. Если бы я верил в Бога, то я мог бы возроптать на него. Я мог бы проклясть его! У меня был бы виновник моего несчастья! Если бы я верил в реинкарнацию, я мог бы корить себя за прошлые грехи и надеяться на встречу с НЕЙ в следующей жизни, ибо говорят же, что такие связи – кармические. Но я верил в механику бездушной материальной вселенной. Кому мне было слать проклятия? На кого сетовать? На что надеяться?

Ни внешностью, ни умом я не прельстил её. В уме своём я не сомневался. А внешность? Многие говорили мне, что я интересный мужчина. Но реальность заставляла меня думать об обратном. Многие девушки охотно заговаривали со мной, но через некоторое время опрометью сбегали от меня. Иногда я подходил к зеркалу и в замешательстве спрашивал себя: «Что им ещё нужно?»

Так что же им было нужно? Во всяком случае, не то, что было у меня. Да, у меня были неплохие внешние данные, хотя, сейчас я понимаю, что изрядно уродовал их. Я носил очки и страшно стеснялся этого. Чтобы хоть как-то нейтрализовать «очковость», я отпустил усы и бакенбарды – зрелище было изрядное! Семнадцатилетний юноша с усами и бакенбардами – это забавно.

Да, внешность – не главное. Главное – я сейчас скажу банальность, – это не внешность, а личность. Личность не в моралистическом смысле, и даже не в романтическом. Я был романтиком, идеалистом и моралистом, но это не привлекало женщин. Наоборот, отпугивало! Не стоит верить им, что для них – главное, именно, это. Нет, сами женщины совершенно искренни в этом своём убеждении. Но они обманывают сами себя, бездумно воспроизводя шаблоны нашей культуры. В качестве циника я оказался более популярным, чем в качестве романтика и идеалиста, и сейчас с жалостью наблюдаю знакомых романтиков, стоящих с понурым видом на обочине жизни. И сколько раз я наблюдал, как добродетельные и духовные женщины увлекались мерзавцами! Они забывали о своих идеалах. Они оправдывали их проделки. Они рассказывали себе сказки о том, какая святая миссия выпала на их долю. А все дело было лишь в том, что избранники отлично отвечали их бессознательным потребностям. Они чувствовали в своих избранниках силу и уверенность в себе. Я давно понял, что руководит человеком не

столько культура, сколько его бессознательное. Слова же, разум и мораль – сказки рассказанные самому себе и другим на ночь.

Женщина хочет любви к себе, преклонения и служения – это даёт ей чувство безопасности, приглушает страх перед мужчиной – одно из доминирующих чувств женщины. И все это им дают романтики. Но, в действительности, жаждет она в мужчине другого – силы и власти (необязательно в буквальном смысле слова). И здесь романтик неуместен, как неуместен импотент на ложе любви.

Хотя, конечно, существует масса исключений. Всегда, когда мы говорим о человеческой реальности, мы можем говорить лишь о тенденции, но никогда о законе.

Ни морализм и ни романтизм и, тем более, ни идеализм отталкивали от меня женщин. Всё значительно сложнее.

Во мне не было того, что привлекает женщину. Я был патологически неуверен в себе. А, кроме того, я был сумасшедшим: странно одевался, странно себя вёл и странно говорил. Говорил, чтобы скрыть свой страх перед другим человеком и, особенно, перед женщиной. Говорил, не слыша других – я даже не смотрел на них. А как это не парадоксально – слышать другого мы можем, только видя его.

Я был болен и мой морализм, романтизм и идеализм – а именно так чаще всего и бывает – были лишь следствием этой болезни, лишь ее внешними симптомами и, одновременно, попыткой оправдать болезнь, выставить её перед другими и самим собой отменным здоровьем.

Женщина всегда чувствует наличие душевной болезни. Некоторых она привлекает, но большинство отталкивает. Видно, у меня была очень отталкивающая болезнь – до моих двадцати лет на меня не польстилась ни одна женщина.

Умом я полностью признаю справедливость этого пренебрежения, но в сердце у меня до сих пор кипит жгучая обида. Когда очередная моя любовница обжигается о мое равнодушие и невнимание, о мою «бесчувственность», я иной раз говорю себе: «Где же ты была, когда я был способен и на любовь, и на чувствительность, и на нежность? Тогда я не был нужен никому! Я стоял с понурым видом на обочине жизни, как сейчас стоят знакомые мне романтики и идеалисты. Они тоже никому не нужны. Ведь, как правило, то, что вы – женщины – так превозносите, то, что вы почерпнули у безумных поэтов, можно обнаружить лишь в сточной канаве экзистенциальной болезни – редко здоровый мужчина являет эти качества!»

С грустью я вижу, как слепы иной раз оказываются женщины. Они увлекаются яркими фигурами и равнодушно проходят мимо тех, кто мог бы составить счастье их жизни. Я не имею в виду себя – уж кто, кто, но только не я могу составить счастье женщины. Но как часто я был свидетелем того, как галантный мужчина отходил от женщины, соблазнившейся им, и тут же цинично обсуждал ее. Она прельстилась его уверенностью в себе, его остроумием и силой, и не заметила полного отсутствия чувств, либо простила ему это. А рядом с ней стоит отвергнутый скромник, полный любви и обожания.

Однажды в университете я заметил девушку, вид которой глубоко взволновал мое сердце. Это было время, когда я уже подался в циники и мог с легкостью ловить очередную жертву своей похоти. Мне тем более легко удавалось это, поскольку я не сильно дорожил добычей: попалась – хорошо, нет – тоже неплохо. Здесь же я волновался, ибо успех был нужен мне. Наконец, я решился подойти, но с испугу не нашел ничего лучшего, как промямлить: «Девушка, извините, я хотел бы с вами познакомиться» Она же, почти не глядя, ответила, что зато она не хочет со мной знакомиться. Потрясенный отказом, я воскликнул: «Не хотите!» – «Не «не хотите», а «не хотите»» – пренебрежительно поправила она меня и гордо удалилась.

Я не знаю всех ее обстоятельств, но могу допустить, что она была свободной, и я не был отвратителен ей, и что дело было погублено моей мнимой глупостью и неловкостью, которые могли означать лишь одно – неуверенность в себе. Я могу это допустить, ибо часто был свидетелем подобных ситуаций. Но, допустив это, я прихожу к выводу, что именно мое чувство к

ней оказалось причиной отказа, поскольку именно из-за него я так сильно волновался и был неловок.

Кто знает, может быть, именно в это время она грезилась о любви, большой и светлой, и, быть может, эта любовь и предстала перед ней в моей неказистой попытке познакомиться. Услышав мое «не хотите», она должна была бы остановиться, обратить внимание, ибо это «не хотите» дорогого стоит. Оно – верный признак подлинного чувства. Но нет, она упорхнула. Упорхнула с тем, чтобы завтра обгореть в филологически безупречном пламени ловкого плейбоя.

Это всего лишь реконструкция, но реконструкция обоснованная моим опытом и наблюдениями. Отталкивая, пресытившись, очередную влюбленную, я иной раз утешаю себя мыслью, что, наверное, и она не раз «убила» холодом отказа влюбленного в нее мужчину.

Но впрочем, вернусь к прерванному повествованию.

Дивная, божественная Влада! Как я был влюблен в нее! Она была прекрасна, она была умна. Много позже, когда я уже смирил свою страсть, мне удалось просто, по-человечески пообщаться с ней. Два дня я сопровождал ее в различных деловых поездках – она вышла замуж и уезжала навсегда в Германию. То ли я уже не являл опасности для нее, то ли она решила таким образом проститься с человеком, так долго ее любившим (женщина не может не оценить столь устойчивое чувство). Как бы то ни было, она позволила мне сопровождать ее. Из этого общения я вынес убеждение, что Влада – очень интересный человек и, кто знает, может быть, при других, при очень других обстоятельствах, она могла бы стать моим хорошим другом. Мы мирно попрощались. С тех пор я больше не видел ее, и вряд ли увижу.

Я сам погубил дело своей любви. Нелепостью и бестактностью поведения я всякий раз отталкивал ее, разрушая те мизерные шансы, что были у меня. Очень скоро она стала избегать меня и прервала всякие отношения со мной. Восемь лет я поджаривался на раскаленной сковороде безответной любви! При моем экзистенциальном безумии это было очень опасное испытание.

С трудом я вытравил чувство к Владе. Я действовал как мясник, вырезая из собственной души несчастную любовь. Сначала это плохо получалось. Но восемь лет – это большой срок, за это время можно достаточно удачно отрезать часть своей души. Я даже точно могу указать момент моей победы над самим собой. Эта «победа» ознаменовалась очень символическим сном.

Мне приснилось, что Влада ответила мне взаимностью, что она полюбила меня, и мы ужасно счастливы друг с другом. Мы гуляем по цветущему яблоневому саду. Мы упиваемся присутствием друг друга. Прекрасный светлый день.

Когда я проснулся, постылая реальность вновь обступила меня: за окном висел серый, пасмурный день, а рядом спала надоевшая, нелюбимая жена. Я же еще был полон счастья взаимной любви. Наверное, я испытывал именно это чувство. Ведь, по большому счету, оно не известно мне из жизни, и мне не с чем сравнивать. Я любил, любили меня. Но мне не довелось испытать взаимной любви и я не знаю на что это похоже. Да, пробудившись, я был полон счастья. Но контраст между сном и реальностью был столь страшен, что боль и отчаяние пронзили меня. Это был сон, всего лишь сон! В этот момент я понял, что там, где когда-то цвел сад моей любви, теперь лишь мрачный пустырь, покрытый толстым слоем пепла.

С этого момента я остыл, мучения мои прекратились.

Честно говоря, эта женщина и сейчас немного волнует мое воображение, хотя я вспоминаю о ней лишь по случаю. И только работая над этим куском текста, я много думал о Владе. Если бы меня спросили, люблю ли я ее сейчас, я затруднился бы с ответом – я не знаю. Мне больно и приятно думать или говорить о ней – иногда мне начинает казаться, что разговор

может что-то изменить в моем прошлом, но я тотчас вытесняю это чувство, как совершенно безумное.

Я никого ТАК не любил, как любил ее. Возможно, это естественно – трудно в тридцать шесть испытывать те же чувства, что и в семнадцать. Кроме того, я стал совсем другим. Те немногие, что знали меня тогда и знают сейчас, говорят, что я стал совсем иным – два совершенно различных человека.

Женщина ли это моей жизни? Или она – лишь фигура моей экзистенции? Что я стал бы делать, если бы встретил ее вновь? Я не могу ответить на эти вопросы. Да и боюсь, встреча эта была бы не в моих интересах. Должно быть, я являл бы печальное зрелище! Манию собственной гениальности, столь явную в моей юности, я растерял, да ее и нечем было бы подтвердить сейчас. Пылкость чувств исчезла. Да, я стал психологически «здоровее». Со мной вполне можно провести пару часов в приятном общении, но и только. Мужчина, стремительно приближающийся к своему сорокалетию, но все так же экзистенциально неимущий, как и тот юноша, что только начинал жить. Мне нечего было бы сказать ей – лишь поделиться своими воспоминаниями. Но, впрочем, даже если бы я был знаменитым ученым, это не улучшило бы положения, поскольку все это никак не относится к тайне взаимной любви. Все эти фантазии лишь отлично иллюстрируют мой невроз, но ничего не сообщают о реальных человеческих отношениях.

В качестве курьеза могу рассказать еще об одном сне про Владу. Этот сон приснился мне три года тому назад. Я давно уже не вспоминал о ней, и вдруг она мне приснилась. Не знаю – почему вдруг. Я лежал в больнице. Был вечер. Сосед, шофер-дальнобойщик, обсуждал с дружкой разных девиц. Под этот разговор я и заснул. Приснилось мне, что Влада влюблена в меня, и мы лежим в постели (к слову сказать, это единственный случай ее участия в моем эротическом сне). Нам хорошо и весело. Все отлично. Вот только одно странно: со мной две Влады – я лежу между ними. Впрочем, меня это во сне не смущало и я знал, что это одна Влада, только в двух экземплярах.

К чему был этот сон? Что он символизировал? Я не знаю. Видно каждая трагическая история имеет не только трагический конец, но и комический, только чуть после.

Вот, работая над этим текстом, я читаю свои дневники. Дни, месяцы, годы моей прошедшей жизни разворачиваются передо мной. Я вспоминаю картины и чувства, людей и обстоятельства. Я вновь погружаюсь в эту жизнь, я вновь испытываю страдание. Но что я могу сделать? Я уже не властен над той жизнью. Я не могу ничего исправить и изменить, я даже не могу утешить того, юного Белхова. Да и что говорить: я не властен и над нынешней моей жизнью, я ничего не могу сделать для себя нынешнего! Как жаль, что я не верю в переселение душ! Эта вера утешила бы меня, примирила, наполнила бы происходящее смыслом.

Теперь же, в своем рассказе, я приближаюсь к моменту крутого перелома в моей жизни, к катастрофе, которая в корне, пусть и не сразу, изменила меня – к моменту моей армейской службы. Потрясение в эти годы было столь велико, что мне понадобилось еще три года по возвращении из армии, чтобы осмыслить происшедшее. Осмыслив же, я не мог более оставаться прежним, я начал радикально меняться.

Но прежде, чем описать этот период, я должен еще раз дать представление о том, что за человек вступил в гущу реальной жизни, войдя в ворота армейской казармы. Это тем более необходимо, что такое описание позволит оттянуть момент начала рассказа об армейских годах. Мне очень не хочется рассказывать о них. Мне скучно и неинтересно рассказывать о них. Я не могу найти в себе силы, чтобы приступить к прочтению тех отрывочных дневниковых записей, что я сделал тогда.

Поэтому расскажу пока о том, каким я был в преддверии армейских испытаний.

Мне ужасно не нравится Белхов этой поры. Максималист, «извращенец», помешанный на духовности и моральном совершенствовании. Несносный тип, воображающий себя гением! Мне неприятно, что я был таким, хотя юные годы могут быть частичным извинением этого.

К восемнадцати годам, та структура моей личности, что начала формироваться в школьные годы, получила свое окончательное завершение. Я стал человеком нетождественным себе и другим.

Что я называю экзистенциальной нетождественностью (психологи называют это неконгруэнтностью)? Экзистенциально нетождественный человек, прежде всего, не в ладах с самим собой. Он хочет одного, выходит совсем другое. Его идеалы не совпадают с его поступками. Он все время несчастен и борется с самим собой без особого успеха. В то время как, здоровый человек равен самому себе, нетождественный человек постоянно чувствует, что он хозяин лишь части самого себя, что в нем есть что-то такое, что не подвластно его контролю, что постоянно ведет свою линию, вставляет палки в колёса. Нет, он не безумен – эта другая часть покладиста: она не собирается противодействовать социальному. Похоже, единственная ее цель – отравлять существование «гордого» разума хозяина. Нетождественные люди, люди не равные самим себе, по большей части обладают очень развитой саморефлексией. На этом-то поле и разыгрываются их экзистенциальные битвы. Они ни к чему не приводят – сознание плодит все новые лабиринты гипотез о самом себе, и выхода из этих лабиринтов нет. Даже если строительство лабиринтов прекратилось и достигнута «окончательная» гипотеза – радости в жизни такой «успех» не приносит, внутренней гармонии не дает. Естественно, такая нетождественность сопровождается нетождественностью окружающему и окружающим – все внутренние надрывы и разломы сказываются на контакте с людьми. Часто одиночество – удел этих людей.

Когда такой человек чувствует себя исключительным, он почти близок к истине, ибо этой болезнью поражены немногие. Да и чтобы он делал без ощущения своей исключительности и особенности – повесился бы? А так можно вступить в реальную или духовную борьбу с окружающим миром и чувствовать себя апостолом разумного, доброго, вечного, солью земли, препятствием к торжеству князя тьмы. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнетя под нас!» Однажды моя знакомая – личность именно этого рода – прокомментировала эти слова из песни так: «Когда я слышу их, то я возбуждаюсь, как полковая лошадь – при звуке трубы». Еще бы! Это главный лозунг подобного типа личности. И в то время я свято верил в его истинность. Мое же выздоровление началось с сознательной попытки прогнуться под окружающий мир и отказа от воинствующей святости. Сегодня я не доверяю такой «святости», ибо она проистекает из болезни и обслуживает эту болезнь. Она подобна обостренной чувствительности сознания, отравленного наркотиками.

Нетождественный человек почти не в состоянии познать самого себя. Он для самого себя – тайна за семью печатями. Именно его уверенность в полном знании и понимании самого себя и есть одна из основных причин невозможности такого знания. У него слишком много абсолютных истин.

К восемнадцати годам я успешно вырастил экзистенциальную нетождественность самому себе. Этот процесс я называл «формированием духовно развитой, моральной личности». Я сформировал ее и погрузился в пучину экзистенциального страдания.

Чтобы хоть как-то проиллюстрировать то умонастроение, что царило у меня в голове тогда, я позволю себе пару цитат из собственных дневников.

Первая цитата – это кусок разговора с другом. Я намерено не стал править неловкий язык подлинного текста.

Часть записи за 7 июля 1985 г.: «Мы шли к Третьяковке. Впереди нас шли две девочки, сильно разряженные, одетые по последнему слову моды. Я спросил Андрея: трудно ли приоб-

рести себе такой костюм. Андрей ответил, что безумно трудно. На что я ответил, что мне просто повезло, коль я могу ходить бог знает в чем и даже гордиться этими убогими одеждами.

Андрей заметил, что преднамеренно одеваться плохо это то же, что одеваться сверхмодно. И то, и другое есть стремление выделиться в одежде. Я согласился с ним, но отметил, что это сходство только внешнее. Главное в убогой одежде это то, что я могу экономить деньги на книги. Я избавляюсь от необходимости тратить время и силы на приобретение модной одежды, да плюс – получаю удовольствие от фарса. Ибо модники своей одеждой говорят всем, что они приверженцы моды и тряпок, а я своей убогой одеждой показываю всем, что я презираю тряпки и мещанское мнение... На это Андрей заметил, что может я и прав, но это ему не нравится, ибо здесь искусственность».

Я намеренно процитировал этот кусок, поскольку через много лет мое «грехопадение» и выздоровление началось именно с одежды. К слову, тогда я не просто одевался плохо по идейным соображениям, я не умел одеваться хорошо. Однажды, уже после армии, мой знакомый заметил: «Сергей, ты прилично одет. Все хорошо: хороший костюм-тройка, хорошие туфли, прекрасный галстук. Но почему на тебе байковая рубашка в голубую клетку?!»

Когда меня спрашивают, что дала мне моя экзистенциальная революция и мое «выздоровление», то я обычно отвечаю – способность сносно одеваться, сносно говорить и сносно писать. Да, я думаю, что экзистенциальная болезнь и экзистенциальное здоровье выражаются достаточно ярко и в этом.

Вторая цитата достаточно специфична. Это фразы, которые я надергал в своих дневниках, и которые дают хорошее представление о моих тогдашних мыслях:

«...избранные, те, у которых сущность ученого»

«...необходимо иметь интеллектуальное развитие»

«...презирать материальные блага и быть моральным. Презирать тех, кто так не поступает»

«...укоренившийся прочно в истинной морали»

«...дать истинную моральную оценку»

«Меня считали дураком и чудаком, а я почитал себя выше всех интеллектуально»

«Я не знаю о чем говорить с большинством людей»

«...разум, которым я горжусь и, который возвышает меня в моих глазах над другими людьми»

«Философия – вершина человеческой деятельности, а я, возможно, – первый в ней»

«Я несколько свысока посматриваю на остальных людей, ибо считаю, что жизнь их скучна и не наполнена большим смыслом»

«Отчужденный от мира радости, от молодежи, я специально настраиваю себя на аскетизм и суровость в жизни»

«Я свято уверен в некоторых принципах и бываю очень возмущен, когда нахожу несоответствие им жизни».

Забавно, сейчас я не принял бы ни одного из этих утверждений.

Итак, я – «духовно развитая личность». Я свято верую в категорический императив Канта и жажду обратить человечество к добру. Я несчастен. Я свысока смотрю на мещан и индивидуалистов. Я ИДУ В АРМИЮ.

2

Я получил повестку, которая гласила, что 10 ноября 1985 года я должен явиться в военкомат. К этому я отнесся спокойно и даже с радостью. В моих глазах армия теперь делила мою жизнь на две части: «до» и «после». «До» меня не радовало – все рухнуло, одни развалины и

пустота. «После» – заманчиво и таинственно. Я надеялся, что через два года армейской жизни я стану другим – «не мальчиком, но мужем», и это автоматически разрешит все проблемы «мальчика». Необходимо лишь перетерпеть, переждать то, что «посередине» – армию.

Я и не подозревал, какая бездна ожидает меня.

Нет, не подумай, сердобольный читатель, что лютые страдания выпали на мою долю. Над моей головой не свистели пули, меня не пытались изувечить или изнасиловать. Все было очень обыкновенно, так, как обычно и бывает у нас в России. Мне даже повезло – я вполне мог попасть в одну из этих переделок, но не попал.

Ничего действительно ужасного со мной не произошло. Но ведь я же предупредил, что наотрез отказываюсь от «глобализма» традиционной философии, что почитаю мелкие бытовые обстоятельства столь же значимыми в человеческой жизни, как и крутые «исторические» переломы. Все зависит от точки зрения и от степени честности перед самим собой.

Кроме того, я не подвержен эффекту «забалтывания». Это любопытный эффект. Вот, к примеру, слушается дело об изнасиловании. Компания молодых людей несколько суток била, пытала, насиловала девушку. Отдыхала. И снова била, пытала, насиловала. Отдыхала. И снова..., снова..., снова... Ничего, осталась жива. Идет суд. Говорит обвинитель. Говорит адвокат. Говорит тот, говорит этот. Так сколько же им дать? Пять лет тюрьмы? Или десять? Десять – много. Ведь не убили же они ее!

За словами теряется ужас происшедшего, теряется ад, в котором побывала жертва. Ее мучили несколько дней? Но для нее время остановилось – эти несколько дней подобны вечности преисподни. Она раздавлена и размазана. Внутри она умерла в те дни и ночи. Ее существование – лишь видимость жизни. Сколько лет тюрьмы – достаточное наказание за тот гнусный смех, которым заливались насильники, упиваясь своей властью и силой? Слова, слова, слова. За словами теряется весь ужас происшедшего, вся гнусность содеянного.

Нет, меня не искалечили и не изнасиловали в армии. Так в чем же трагедия? Жив, цел, и, слава Богу! Вселенная, рухнувшая где-то в душе у юноши-романтика, не в счет. Удары и оскорбления, послужившие причиной этого, не принимаются в расчет. Они ничто по сравнению с убийством, пытками и изнасилованием.

Но я так не считаю. Сущность насилия не меняется от степени этого насилия. Удар в зубы, травля и оскорбления могут быть столь же ужасными и смертоносными, как и убийство.

Я мыслю в рамках экзистенциальной философии. А значит, мыслю в рамках феноменологического подхода. Ситуация, которая воспринимается, как реальная – реальна и имеет реальные следствия.

Я не стал ловчить и пытаться отвертеться от выполнения «патриотического» долга – это было бы недостойно моих принципов. Я привел в порядок бумаги, посадил во дворе дуб, и отправился на призывной пункт. С этого момента, прозорливое чудовище российской государственности всосало меня в свою утробу и выплюнуло лишь через два года, морально искалеченного, но уцелевшего физически. Я не сгущаю краски. Я опираюсь на свой опыт, на опыт друзей и знакомых. Естественно, они – интеллигенты. Но именно об этом круге людей моя книга.

Мои однокурсники не любили вспоминать армию. Их молчание говорило больше, чем сказали бы их слова. Одному из них там перебили позвоночник. Другого – и много лет спустя мучил кошмар, что он снова в армии, так что он пробуждался с криком: «За что?!!». Мой друг был комиссован после того, как попал в психушку. Та же участь постигла моего соседа, но перед этим он побывал в роли дезертира. Если бы не связи отца, он надолго застрял бы в штрафбате.

После, я почти безошибочно мог определить, кто из «завсегдаев» философского факультета побывал в армии – в их лицах было что-то такое, чего не было на лицах не служив-

ших. Я не смогу в словах выразить это. Скажу лишь одно – лица не служивших несли на себе печать невинности и экзистенциального оптимизма.

Еще раз отмечу, что все сказанное относится преимущественно к интеллигентным людям, к московским «домашним», «умным» мальчикам. Но ведь в армию берут всех, не разбираясь.

Русскую интеллигенцию всегда мучила проблема ее взаимоотношений с народом. До революции в этом отношении преобладало чувство вины перед народом и желание «отслужить» народу свою благополучную, сытую жизнь. Большевики помогли интеллигенции избавиться от этого чувства вины – организованный ими народ частью истребил, частью размазал русскую интеллигенцию. Те, кто выжил, «отслужили» свою вину в коммунальных квартирах, подвергаясь глумлению и насилию со стороны «Аннушек» и «Петровичей». Большевистский режим разрушил ту социальную стену, что существовала между интеллигенцией и народом до революции. Теперь речь идет не о вине, а о выживании интеллигента. Интеллигенту больше не удастся навсегда отгородиться от народа жесткой стеной социальной стратификации. Государство время от времени насильственно водворяет его в гущу народной жизни, не заботясь о том, что станет с ним здесь.

Я полагаю, что судьба российского интеллигента отлична от судьбы интеллигента западного. Последний подобен Адаму до грехопадения. Он невинен и оптимистичен. Он родился и вырос в Эдеме. Российский же интеллигент живет над бездной – в любой момент он может быть низвергнут туда и пропущен по всем кругам ада.

Впрочем, западный человек тоже живет над бездной, только его пол настолько прочен и звуконепроницаем, что он не подозревает об этом. Но и он может сверзнуться туда, только вероятность этого значительно меньше. Если чему Россия и может научить Запад, то это не «соборности» и не особой духовности. Подобных вздорных идей полно и на Западе. Российская мысль может осмыслить свой опыт бездны и научить западного человека умению видеть ее и умению жить в ней, коль доведется. Для такого осмысления надо только отбросить весь хлам интеллигентских фантазий относительно человеческой жизни и назвать вещи своими именами.

Первое, что сделали военные, заполучив меня в рабство, так это обрили меня наголо. Это самая невиннейшая вещь, практикуемая здесь, но какой эффект! Однажды, прослужив уже пол года, мы наблюдали на плацу толпу «духов» (То есть: призывников. Значение этого слова может объяснить фраза «деда», обращенная ко мне-призывнику: «Ты, че, дух, опух? Ты не человек. Ты – дух бесплотный, и должен летать». «Летать» – значит непрерывно и стремительно работать на «дедов») Среди них возвышался огромный мужик свирепой наружности. Мы злорадно посмеивались над тем сержантом, что решится «дать ему в зубы». И что же? На следующий день «духов» обрили – вместо свирепого мужика по плацу маршировал испуганный, растерянный толстый малый, вполне годный для сержантских зуботычин.

Самое первое открытие, сделанное нами в армии – мы попали в рабство. Удивительно, еще вчера ты был свободным человеком, мог делать, что хочешь, идти куда хочешь. У тебя была своя воля. Ты принадлежал себе. Теперь же, ты собственность других. Только мысли твои все еще находятся в твоей власти. В физическом же плане нет ничего, что бы зависело от тебя. На каждую минуту твоей жизни здесь есть приказ. Ешь, спишь, справляешь естественные надобности, маршируешь, учишься, работаешь – по приказу и по распорядку.

Впрочем, и мысли подвергались атакам. Любой – официально или реально – вышестоящий склонен был к поучениям или объяснениям относительно того, кто мы есть на самом деле. И горе тому, в чьем взгляде он заметит хотя бы тень несогласия с ним!

С армейских времен я недолюбливаю родственников офицеров. Когда тобой помыкает офицер, в этом есть хоть что-то сохраняющее твое достоинство, хотя подчас очень неприятно стоять по стойке «смирно», в то время как полуграмотное ничтожество учит тебя жить, либо

кроет матом, смешивая с грязью. Но когда жена офицера, подобно плантаторше, руководит тобой в выполнении бытовых работ, то тогда чувствуешь себя рабом, мало отличным от рабов, о которых читал в учебнике.

В глазах такой дамочки ты – абсолютное ничто. Год назад ты был жителем столицы и студентом университета – возможным желанным гостем в ее провинциальной квартире. Теперь же, ты – обслуга, которой бесцеремонно отдают приказы и напоминают о той чудовищной разнице в социальном статусе, которая существует между вами.

Конечно, и там, в армии, есть хорошие люди. Я с благодарностью вспоминаю некоторых офицеров – они помогли мне выжить. Но система! Система слишком способствует разращению душ.

Второе открытие, совершенное мной, – абсолютная обезличенность системы. Мы были лишь «пушечным» мясом. Эта система совершенно не ориентирована на отдельные личности – в расчет идет лишь масса. Я с изумлением вспоминаю, как в первый день службы я придирчиво и капризно подбирал себе обмундирование. Это произошло лишь в результате редкого стечения обстоятельств. Дальше этого больше не было. Если тебя ведут в баню, то ты в числе сотни других оказываешься загнанным в небольшое пространство. За пятнадцать минут ты должен урвать тазик, мочалку, вымоченную в солидоле⁶, струю горячей и холодной воды, мыло и помыться; мгновенно одеться и выйти на мороз, градусов в сорок. Некоторые просто не мылись, так как не успевали, или были отброшены более сильными. Но это было не самым лучшим выходом – при интенсивных физических нагрузках в течение недели, нам предоставлялось лишь одно посещение бани.

Причем, чистое белье – тоже проблема. Нет, оно чистое – хотя изредка и может быть заражено вшами – но вполне может оказаться на несколько размеров меньше, чем тебе нужно. Неоднократно, мне доставались кальсоны, заканчивающиеся в области колен – рост был не мой. Мне приходилось связывать их края ниткой, чтобы они не задирались в узких штанах. Портянки иногда были так малы и коротки, что прикрывали лишь пол ступни – это грозило стиранием ноги или обморожением.

Или, к примеру, валенки. Отправляемся на стрельбище или на работы. Мороз – сорок градусов. Перед нами гора валенок, поставленных в шестидесятые годы, когда люди были мельче. Больших размеров нет – весь день ходишь в валенках на несколько размеров меньших, чем твой. Другой пример – подъем: сотня человек должна за пять минут справиться свои естественные потребности в небольшом туалете, рассчитанном на прием десяти человек. Я был застенчив, и для меня было пыткой писать в толпе других, в то время как сзади тебя подгоняет и толкает еще полсотни желающих.

Система достаточно бездушная. Человек не стоил здесь и гроша. Мой друг с воспалением легких неоднократно был вынужден в госпитале расчищать снег. От холода его спасала пижама, больничный халат, больничные «шлепанцы» на голую ногу и интенсивный труд. Мой сержант попал в госпиталь с «желтухой». Была эпидемия – мест не было. До конца октября (Сибирского октября!) он жил в саду госпиталя. В его распоряжении был матрац и шинель – палаток тоже не всем хватило. Болезнь его протекла с осложнениями: он был добрым человеком, но иногда мрачнел, – болела печень – и начинал бить тех бойцов, что попадутся под руку.

Странно, несмотря на все лишения, я не заболел. Хотя к этому, казалось бы, были все предпосылки. Раз, после наряда в столовой, я явился в казарму в сапогах просто сочащихся водой – помыть тарелки на пятьсот человек и остаться сухим достаточно затруднительно. Тотчас меня отправили убирать территорию. За час на сорокаградусном морозе сапоги мои обледенели полностью, ног я не чувствовал, но не получил даже насморка.

⁶ Дезинфекция необходима, ведь этой мочалкой пару лет пользуется вся часть – сотни и сотни людей.

Впрочем, болезнь все же подстерегла меня. Я был поражен «амурской розочкой». Все называли ее именно так, медицинского названия я не знаю, поскольку врачу меня не показывали.

Название обусловлено следующими симптомами. Сначала на теле появляется прыщик. Потом он вскрывается и на его месте образуется маленькая розовая язвочка так, как если бы ножом вырезали верхний слой кожи. Язвочка покрывается коркой, под которой скапливается гной. Иногда он прорывается наружу и засыхает так, что нижнее белье прилипает к язве. Малейшее движение вызывает боль, поскольку оно отрывает от раны эти присохшие части одежды. Язва имеет тенденцию разрастаться. Самые большие язвы, которые я видел у других, были в десять-двадцать сантиметров. Обычно язв у больного с десятков, все ниже пояса.

К тому времени, когда болезнь поразила меня, от нее страдало человек триста из тысячи, бывших в нашей части.

Меня отправили на прием в санчасть. Здесь фельдшер вручил мне скальпель, вату и зеленку и объяснил, что я должен вскрыть все язвы, убрать гной и промазать рану зеленкой. В этом и заключалось лечение.

Через две недели ежедневных процедур этого рода, я заметил, что язвы лишь разрастаются. Рядом со мной были бойцы, которые так лечились уже пару месяцев и язвы их были огромны.

Тогда я понял, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я принялся мысленно – других возможностей не было – исследовать свою болезнь. Это один из редких случаев, когда образование, вернее, некоторые общие представления о теле человека, полученные в школе, пригодились мне.

От чего могут быть эти язвы?

От грязи? Вряд ли. Моемся мы раз в неделю и то наспех. Но трусь я мочалкой старательно. Правда, мочалка общая, но для дезинфекции ее вымачивают в солидоле.

От недостатка солнца? Возможно. Но это исправить невозможно. Сибирь, Амурская область, зима, знаете ли! Хорошее солнце предвидится лишь через шесть месяцев.

От недостатка витаминов? Вполне возможно. Ибо фруктов нет, а из овощей – лишь несколько полосок лука к селедке. И здесь я могу что-нибудь предпринять.

Я стал съедать весь лук, что давали нам, и которым пренебрегали другие. Я тратил все деньги, что присылали из дома на покупку яблок в офицерском магазине. Когда нас отправляли в овощехранилище для работ, я съедал пару кочанов капусты.

Через месяц болезнь оставила меня. Следы от язв сохранялись еще несколько лет, но и они со временем сошли. Прекрасный пример победы Разума над обстоятельствами!

Зачем я вдаюсь в эти подробности? Из двух соображений.

Первое. Перед этим на десятках страниц я долго распространялся о «страданиях юного Вертера», о метафизических исканиях, о тонкой духовности. И вот, «пожалуйста, мадам, браться» – чисто материальная жизнь, жизнь грубая, простая, здоровая. Каков контраст!

Второе. Пройдя все это, начинаешь не только понимать, но и чувствовать каждой клеткой тела сущность российской государственности. Это очень полезно для дальнейших умозрений в области социально-политических теорий. Нашим государственным, славянофилам, радетелям о русском народе и его высшем выражении – российском государстве было бы очень полезно познакомиться с реалиями столь любимого ими государства. Полезно попробовать его на своей шкуре. Полезно получить по зубам и по почкам от загадочного богоносного русского мужика. Тем более что все это им еще предстоит узнать в будущем, если их взгляды победят. Ведь воспрянувшее чудовище сожрет, прежде всего, их. Так уж у нас заведено.

Но, странное дело, радетели государства, как правило, не спешат на службу, в рядовые. Иногда я подшучиваю над своим другом: «Как же так? Я – либерал и западник, чуждый России

человек, уже давно жирующий на баснословные гонорары ЦРУ, выполнил свой патриотический долг. А ты – славянофил и государственник – ловко уклонился от него?»

Из всех моих знакомых и друзей – поклонников российской государственности – лишь один побывал в армии. Но его опыт не пошел ему в знание. Через пару месяцев близкого знакомства с российской государственностью в лице ее армии у него начались галлюцинации, и он угодил в психушку. Теперь же, много лет спустя, этот опыт не является его опытом. Эта область существует невротически отдельно от его личности. Она окружена фантазиями и умолчаниями. Идея могучего государства типа СССР господствует в его сознании, опыт же личной жизни в этом государстве упрятан в подвалы бессознательного.

Конечно, все это звучит непатриотично. Но почему патриотизм состоит в том, чтобы врать и скрывать правду? Если это так, то я не патриот.

Недавно мой друг заметил мне на это: «Твое отрицание фетишей вредно. Только они позволяют управлять людьми и подвигать их на великие дела!»

Он прав – для использования масс фетиши весьма полезны. Но мне отвратительно использование масс. Мне отвратительны люди, делающие это. Они – ужасные чудовища, бессовестно пожирающие чужие жизни. Их глаза горят верой в великие ценности, они полны решимости достичь их любой ценой. Они сидят в теплых бункерах, в тиши и уюте, и между чашкой кофе и хорошей сигарой по телефону отдают приказ бросить еще один миллион солдат в пекло боя.

Когда я беседую с патриотами-государственниками, я вижу по их глазам, что именно так они видят себя в будущей великой России. Их дурманит величие власти, их опьяняет вид российских флагов над куполами Константинополя, и ни один из них не видит себя на заснеженном поле с развороченным животом, тихо умирающим под завывание ветра.

Они слушают меня и говорят мне, что я – не русский человек. «Ты предатель» – говорят они мне.

Пусть! Если компания предателей – это единственная альтернатива этим людям, то лучше быть предателем.

Был бы я максималистом, я не подал бы им руки при встрече. Но я не максималист. Сидим за одним столом, пьем водку.

В России за патриотическим воспитанием всегда скрывается ложь и непорядочность.

Вот, в который раз, смотрю по телевизору советский фильм о двух сельских вдовах, что после боя собрали тела павших воинов, и похоронили их. Десятилетия они навещают могилу. В какой-то момент им начинает казаться, что их мужья и сыновья, павшие где-то в бою, похоронены здесь. Весь конфликт фильма состоит в том, что начальство просит их разрешить перенести останки солдат в центральное село, где они получают полагающиеся им почести. Отличный патриотический фильм! Но все ложь и надругательство над памятью павших!

Что ж спорить о десятке останков павших солдат! К чему это? Выйдете в русское поле или лес и вы найдете миллионы не погребенных русских солдат. Их кости уже шестьдесят лет гниют в оврагах и болотах, перемалываются гусеницами тракторов, пашущих землю!

Об этом не снимают фильмов. Кому нужен такой фильм? Ведь чего доброго после такого фильма русский человек не так охотно полезет в пекло по приказу жирующих генералов и политиков.

Конечно, я – предатель! Мой коллега-патриот чуть не убил меня, когда услышал подобные речи. Ему показалось, что я осквернил память павших, говоря все это.

Мне же вспоминается моя бабушка – простая русская женщина. Первый ее муж – мой дед – сгинул в сталинских лагерях. От второго осталось лишь письмо, которое он написал из-под Вышнего Волочка. Видно, там, в бою и сложил он свою голову. «Где лежат его кости? Одному Богу то ведомо» – заканчивала она, плача, свой рассказ о нем.

Какие слова мне найти, чтобы хоть немного пробить безумие «государственников»?! Довольные, они хлопают меня по плечу и, улыбаясь, говорят: «Вот увидишь, Серега, как замечательно все будет устроено в возрожденной Российской империи!!! И тебе место найдется. Преподавать и писать книги, конечно, мы тебе не позволим – вредный и опасный ты для России человек. Но кусок хлеба ты получишь и будешь сыт»

Проклятие! Я даже не смогу насладиться в будущем их отрезвлением и раскаянием. В тот момент, когда возрожденная империя, сожрет еще несколько десятков миллионов жизней, и погрузит Россию в новую пучину кровавой смуты, эти люди будут мертвы. А те из них, кто выживет, снова искренне будут говорить о том, что заокеанские недруги, да местные жидомассоны вновь испортили все дело и погубили страну. Бедная, бедная Россия!

Но, впрочем, продолжим. Я попал в учебную часть, где меня пол года учили на телефониста. Это первая моя удача. Здесь почти не было «дедов». Те же «деды», что командовали нами, были сержантами, так что неофициальное порабощение ими совпадало с официальной субординацией. Это было не так унижительно.

Таким образом, первые столкновения мне пришлось выдержать с равными мне, равными по положению.

Сначала это были простые конфликты на бытовой почве.

То я не понравился какой-то «горилле» и она ударила меня штык-ножом – благо тот был туп, туп как все штык-ножи в нашей армии, и не пробил моей телогрейки. От этого недруга я быстро избавился. Он разбил челюсть сослуживцу за то, что тот не положил ему, будучи раздатчиком пищи, хорошего куска мяса. Дело замяли, но «горилла» присмирела.

То меня «отметелил» десяток армян. Дело было так. Я брился. Между мной и умывальником было сантиметров сорок. Именно в это пространство и вклинился маленький армянин. Вклинился и начал умываться – я для него оказался пустым местом. Мои протесты повлекли ссору. Сбежалась толпа армян и изрядно отходила меня. Сегодня я знаю, как следовало поступить в этой ситуации – бритвой порезать нескольких нападающих. Это была бы победа, которая обеспечила бы мне спокойную жизнь. Но тому Белхову – гуманисту и интеллигенту – это в принципе не могло прийти в голову.

Но затем начались проблемы посерьезнее. Я стал терять уважение сослуживцев, а, значит, давление на меня возросло.

К тому несколько причин.

Во-первых. Оказалось, что я не в состоянии отстоять свое личное пространство. Я патологически не мог драться. У меня не было злости на обидчиков. За доармейские годы я умудрился так морально «усовершенствоваться», что абсолютно не чувствовал в себе агрессии. Я «понимал» этих злых людей: бездуховная, жестокая среда; они сами не ведают, что творят; они не знали добра; они невиновны в собственном зле. У меня не было злобы к ним, и у меня не было умения драться. Мои удары были бессильны и били мимо цели. Ведь я всегда старался не драться. Мама говорила: лучше отойти от злого человека, словом можно ударить больнее. Бабушка пугала тем, что я могу покалечить противника или ненароком убить его, и меня посадят в тюрьму. Меня всегда убеждали, что нельзя начинать первым, что необходимо убедиться в значимости агрессии и лишь затем, приобретя моральное право защищающегося, предпринять меры к отпору. А мои противники не ждали, пока я ударю их словом, они не боялись покалечить и убить меня, им не нужно было морального оправдания – они били и били основательно.

Я знал, что не смогу защитить себя и боялся. Страх – удел бессильного. Я с самого начала своей жизни был воспитан как бессильный, а затем оправдал это бессилие, разукрасив, облагородив его своими духовными и моральными изысканиями. Я был утонченным и добрым и тем самым скрывал от себя свое бессилие и свой страх. Теперь я расплачивался за это.

ОНИ очень скоро почувствовали слабость и стали недоумевать: почему это ничтожество пользуется теми же благами, что и они. Вполне справедливо отнять все это у него. ЧМО – человек морально опущенный – не может жить на равных с настоящими людьми; он должен пресмыкаться в низинах.

Мне повезло – наша часть гордилась строгой дисциплиной. Эта дисциплина не позволяла моим недругам низвергнуть меня в ад. Я не знаю, что было бы, если бы я попал в другую часть. Боюсь, я не смог бы устоять. Всеобщее презрение и отторжение, пытки способны сломать человека. Я видел интеллигентов, которых постигла эта участь. Сначала их били, морили голодом и бессонницей, пытали: вешали, но в последний момент перерезали веревку; вставляли фитили между пальцами и поджигали их; топили в воде или прижигали сигаретой. И вот: идет строй храбрых солдат, а за ним тащится грязный, заплеванный ЧМО. Его удел – стирка белья других, шутство и услужение. Иногда такой несчастный не выдерживает и, заполучив, по случаю, автомат, расстреливает обидчиков. Тогда его ждет пуля преследователей или тюрьма, то есть спуск в ад еще более страшный, чем тот, в котором он был. Либо, несчастный тихо вешается в темном углу туалета или каптерки. А ведь был гордым, утонченным интеллигентом.

Что оставалось от такого человека, если он выживал и отпускался на «гражданку»? Хотя я видел таких в армии, я не видел этих людей после армии. Я не могу точно знать, что происходит у них в душе. У меня нет опыта для этого. Я могу лишь предполагать.

Не стоит меня упрекать в сгущении красок. Этот упрек будет упреком «человека большинства». Большинство проходит через армию и оставляет даже несколько приятных воспоминаний. Что же мне говорить от имени большинства! От его имени говорят все, даже философия. Ведь не удержался же обломок человека – Ницше – от соблазна восславить сильных и заклеить слабых!

Но кто же защитит слабых, неспособных к жизни? Кто же скажет за них слово? Кто подаст им руку помощи? Кто поможет им советом? Я не вижу желающих сделать это. Те, кто все же делает это – христиане – делают это в направлении оправдания и усугубления их слабости. Не имея возможности избавить их от мира, невольно, они учат слабых быть еще более уязвимыми перед миром, а значит, быть еще более несчастными.

Я же хочу возвестить благую весть для павших: «Слабый может стать сильным, если действительно пожелает этого». Я хочу, чтобы моя книга стала «евангелием» слабых, «Вергилием», ведущим их по кругам жизни, НАДЕЖДОЙ выжить и выжить достойно. Если бы это случилось, то цель моя была бы достигнута, а труд оправдан.

Вторая причина моего «социального» банкротства особенно мне неприятна. Мне понадобилось большое мужество, чтобы откровенно написать о ней.

Я действительно оказался никуда не годным человеком. Гений человеческого духа, апостол добра и альтруизма оказался жадным, подлым ловчилой. Началось это исподволь, по мере убывания доармейских жизненных резервов.

Постоянный стресс и скудность питания породили во мне маниакальную прожорливость. Я постоянно был голоден, а какой-нибудь «разносол» – колбаса, масло, яблоко, пряник – оказывали на меня действие подобное действию наркотика на наркомана.

Когда меня просили что-нибудь купить в магазине, то я утаивал часть купленного и тайком пожирал добычу. Тайком я пытался пожрать и лучшие куски из посылок. Наконец, меня поймали на краже сообща купленных «вкусностей». Презрение и ненависть были наградой за мои подвиги. Меня чуть не уморили голодом, поскольку раздатчик пищи решил наказать меня радикальным сокращением порции еды в столовой. Я спасся от голода заискивающей лестью ему. Видно, он был столь незначительной личностью на «гражданке», что не имел никакого опыта противостояния лести. Он быстро растаял от моего «восхищения» его принципиальностью и сменил гнев на милость.

Я не мог не осознавать всю гнусность своей натуры. Но прямо сделать это открытие фактом самосознания и самооценки – тоже было выше моих сил. Для этого мне потребовалось четыре года.

В довершении моих несчастий я «поссорился» с солдатами четвертой роты. Это были крепкие ребята из Тюмени. Легкомысленно не позволив одному из них обидеть меня, я нажил страшного врага. По сравнению с ним, я был просто птенец. До поры до времени мне удавалось избегать встреч с ним в безлюдных местах, но однажды я попал в самый «улей». Меня послали из караулки за провизией в столовую. Там-то я и наткнулся на своего обидчика и его приятелей. Туча здоровяков набросилась на меня и принялась молотить. Ужас захлестнул меня. Не то что небо – жизнь показалась мне в копейку. В такие минуты сознание сжимается до точки и эта точка – сгусток ужаса и желания спастись. Не понимая, что выношу себе смертный приговор, в отчаянии я закричал: «Гады, всех заложу!» Я не спас себя, но получил клеймо «стукача». Клеймо несправедливое, поскольку я никого не «заложил». Но кому было до этого дело – меня «копнули» и нашли гниль, одну только гниль. «Стукач» – это смертный приговор в системах народной жизни. Клеймо педераста и то позволяет жить. Стукача убивают сразу. Но к счастью, это была не тюрьма – я остался жить.

Это был роковой момент, поскольку один из солдат четвертой роты отправился вместе со мной к новому месту службы. Своим товарищам он обещал проследить, чтобы «ЧМО» и «фара» (так называют очкариков) на новом месте занял «подобающее» ему положение, что он и пытался честно исполнить до конца нашей службы.

Мое банкротство как личности было следствием того, что во мне не было «стержня». Мне не на что было опереться внутри самого себя. Не было ни самоуважения, ни воли, ни опыта общежития. Были лишь интеллектуальное самолюбование, страх и жадность. Меня быстро «раскусили» и попытались затоптать. Лишь счастливое стечение обстоятельств позволило мне уцелеть.

Кроме того, я совершил большую экзистенциальную ошибку. Я не сказал «ДА» своей армейской одиссее.

Я воспринимал армию как насилие над моей свободной волей. Это действительно было насилие. Но правы стоики: «Разумного судьба ведет, неразумного – тащит». На насилие я ответил сопротивлением души. Я не мог отстоять свое тело, но душу я не отдал армии. Происходящее я пытался воспринимать как иллюзию: тело мое было на службе, душа – на «гражданке». Я отлынивал от всего, улучал каждую минуту, чтобы заниматься философией. Вместо того чтобы принять происходящее, принять окружающих, я смотрел на все это как на временное, преходящее, не стоящее моего внимания. Я остался инородным телом в армии и среди сослуживцев.

Эта реакция так же находила соответствие в привычной для меня культурной среде. Мне казалось глубоко правильным душевно отторгать окружающее. В этом мне виделось благородство духовно не сломленного человека. Мне казалось, что я уподобляюсь христианину, которого заставляют молиться на статую императора, но мысленно он взывает лишь к Богу. Это была иллюзия, это была глупость. Я был уязвлен и раздавлен, и лишь делал перед самим собой «хорошую мину при плохой игре».

Мое неприятие происходящего доходило до анекдотизма. Однажды, когда меня поймали на мошенническом отлынивании от работ, старшина пинками загнал меня на «очки». «Писсуар должен блестеть как яйца кота!» сказал он и вручил мне бритвенное лезвие – им я должен был соскребать нечистоты. Немного поскребя, я плюнул на это дело, открыл Аристотеля, что хранился в моем кармане, и стал читать, сидя рядом с писсуаром. Я читал и делал заметки для «вечности».

Такое отторжение вполне по-человечески понятно. Но это была самая безумная позиция, какую только можно было занять в этой ситуации. Если бы сейчас я попал в подобную ситуацию, то я постарался бы принять происходящее, открыть ему мои глаза, мои уши, мою душу. Я

постарался бы устроиться здесь так, как если бы я должен был остаться здесь навеки. Я постарался бы жить и чувствовать вместе со всеми. Это спасло бы меня от многих бед, доставило бы много радостей. Жить всегда лучше и выгоднее, чем имитировать жизнь.

Я не в состоянии был осмыслить происходящее. Да у меня и не было такой возможности. Я ориентировался на образцы книжной культуры, а она оказалась никуда не годным подспорьем в реальной жизни. Мое осмысление ситуации традиционно свелось к моральной оценке. Я однозначно оценил происходящее: система-зло и банда злодеев-индивидуалистов захватили меня в плен, и я считал своим долгом, делом чести сохранить духовное неприятие происходящего. К такой позиции было много стимулирующих примеров в литературе и кинематографе. Происходящее было, по моему мнению, злом. Принять его означало для меня одобрить его, капитулировать перед ним. Это противоречило всем моим принципам. А я свято веровал в эти принципы. И даже если бы я усомнился в них, то нашел бы поддержку вовне – за этими принципами стояли легионы мыслителей и творцов духа всех времен и всех народов. За этими принципами стояли мои учителя, родители, знакомые, художественная литература, кинематограф. Эти принципы я впитывал с момента рождения.

Может быть, оценка происходящего была неверна? Да нет же! Если быть последовательным в следовании святым принципам – а как мало людей демонстрирует такую последовательность и честность! – то оценка моя была почти верна. Рабство, унижение человеческого достоинства, наслаждение властью над другим, избиения и пытки слабых или младших, их эксплуатация – что это, как не зло?

Здесь невозможно было найти никакого просвета. Даже моя марксистская потребность идеализировать угнетенных и эксплуатируемых наталкивалась на очевиднейшие вещи: те, кого сейчас бьют и унижают «деды», утешаются мыслью, что через год, они займут их место и сами станут бить и унижать. Эта мысль примиряла их с происходящим. Потом, когда я сам стал «дедом», я пытался разрушить эту систему, освободить от угнетения «молодых». Это кончилось плачевно. Они продолжали подчиняться другим «дедам», меня же стали притеснять. Мой отказ от господства означал для них лишь то, что я не достоин этого господства, а, значит, я – их законная добыча.

Моя попытка разрушить систему эксплуатации и насилия нашла бы поддержку и одобрение у любого европейского интеллигента, но окружающие меня простые люди смотрели на меня как психа. Но не стоит обольщаться и относительно самих интеллигентов. Их поддержка моей борьбы с эксплуатацией была бы исключительно абстрактной, она бы не влияла на их жизнь. Они предпочли бы остаться в стороне, коль их не трогают. Ведь был же рядом со мной москвич и студент Плехановского института. Он ухитрился прослыть «своим» парнем среди солдат. Он не нападал на меня, но ничего и не предпринял для поддержки – себе дороже.

Вот еще один пример, но уже из другой сферы. За десять лет своей преподавательской практики я сменил несколько институтов. Некоторые кафедры философии были прекрасны, на некоторых же царил дух эксплуатации и неуважения к слабым. Вот, к примеру, кафедра философии одного технического университета. До моего прихода туда, там работал мой друг – человек интеллигентный и робкий. Весь первый год его эксплуатировали нещадно – в каждой бочке он был затычкой. На второй год заведующий кафедрой выставил его кандидатуру на замещение должности доцента. Что тут началось! Старшие по возрасту, но не по научному статусу коллеги два часа смешивали его с грязью. Они объяснили ему, что он – рвач, хапуга, интриган и просто бессовестный человек. Когда же мой друг удивленно заметил, что весь год заменял всех, и потому рассчитывал на некоторое доброе отношение к себе, то ему заявили, что это ему оказали честь, дав поработать со студентами других преподавателей и тем самым набраться опыта. Он был потрясен и уязвлен.

Что это как не «дедовщина»? Конечно, здесь не бьют и не пытаются. Это интеллигентные люди. Но и противостоят им такие же молодые интеллигенты, которых не надо пытаться, чтобы добиться власти над ними.

Самое интересное, что эти «деды» – ярые моралисты. Они разглагольствуют с кафедры перед студентами о добре, справедливости и духовности, и искренне верят в то, что говорят, и в то, что сами они являют образец этих идеалов.

Когда я сделал доклад на кафедре о своей системе морального и культурного релятивизма⁷, эти люди были шокированы. Конец доклада был встречен гробовым молчанием, так что мне пришлось заверить их в том, что я не граблю прохожих и не толкаю старушек.

И эти же люди всеми силами поддерживают систему эксплуатации молодых преподавателей. Одна коллега – другие ее называют «человек долга» – заявила мне по поводу жалоб молодого преподавателя: «Пока я была молодой, я была козлом отпущения на кафедре. Десять лет я работала на других. И что же? Теперь я не имею права на привилегии? Теперь его очередь быть козлом отпущения».

Забавно, но мне – моральному релятивисту – постоянно приходилось выступать с этими людьми в роли моралиста и радетеля справедливости. При этом старался я для других. Мое положение было вполне комфортным. Ведь я не являюсь интеллигентным человеком, и окружающие очень быстро это поняли. После встречи с армейскими «дедами», эти ветхие вампиры не могли быть для меня серьезной проблемой. Зная об атмосфере на кафедре, я с первых же дней устроил пару скандалов, дал «по рогам» наглым типам, и приобрел репутацию человека доброго и приятного, но нервного, с которым лучше не связываться. Моя тактика принесла хорошие плоды. Через год, когда обсуждался вопрос о продлении моего контракта, большинство преподавателей горячо высказались в мою пользу.

Я мог бы привести еще множество примеров в подтверждение своего тезиса, но, думаю, пока достаточно. Интеллигенция при всем ее прекрасодушии зачастую являет яркий образчик бессознательного лицемерия и фарисейства.

Многие интеллигенты прошли армию без проблем. Я видел и таких. Они мирились с происходящим, подыгрывали ему, сами были «дедами», хотя и не очень злыми. Вернувшись, они забыли свою армейскую жизнь, стали «нормальными» людьми. Некоторые из них, возможно, даже подключились к сеянию разумного, доброго, вечного.

Но я не мог быть таким. Мне не хватало психологического, экзистенциального «здоровья» для того, чтобы адаптироваться к системе. Кроме того, я всегда хотел быть честным по отношению к своим принципам. Как же я мог принять то, что вызывало мой протест и возмущение?!

Самое отвратительное – я понимал: то, что вызывает во мне бурное неприятие и осуждение, то, что так тиранит меня – есть сама жизнь, реальность. Я понимал, что мои принципы выношены меньшей частью человечества, кабинетными мыслителями, странным образом захватившими власть над умами людей. Они владеют сознанием большинства, но жизнью его они не владеют. И она – жизнь – протекает по своим законам. Эти законы вечны и всеобщы. Ведь проводили же эксперимент со студентами психологического факультета по созданию «тюрьмы», «тюремщиков» и «заключенных». Его пришлось срочно прекратить, ибо через пару недель из интеллигентных студентов вылезло такое, что до смерти напугало организаторов. Это есть в каждом человеке – немного сближения, немного ослабления полицейского контроля, и мы получаем гонителей и гонимых.

⁷ Релятивный – относительный. Релятивистская теория – теория относительности.

Как могли не видеть этого апостолы добра и справедливости? Как они могли так безответственно сеять отравленные семена умозрительного добра? Ведь всегда находятся впечатлительные натуры, которые с полным доверием и по-настоящему глубоко впитывают этот яд, а потом идут в качестве фарша в жаркое жизни.

Ведь были же и такие апостолы добра, которым довелось пройти по всем кругам жизни и выжить. Почему они учили не тому, что видели? Почему они не сказали правду о своей экзистенциальной несостоятельности, о своем экзистенциальном поражении и позоре? Или я один из всех них оказался несостоятельным при столкновении с жизнью? Да еще сдуру рассказываю об этом!

Нет, не верю я в свою исключительную мерзость. За свою жизнь я понял: все люди похожи друг на друга, и трудно, почти невозможно, найти действительно оригинальную экзистенциальную ситуацию – несколько типов, несколько законов и бездна вариаций этих исходных посылок.

Кстати, когда мой друг прочел предыдущий абзац, он предложил мне объяснение молчания тех, кто побывал в кругах жизни. Им просто нечего рассказывать! Вот, «Записки из мертвого дома» Достоевского – один из «ужастиков» для интеллигенции, который убеждает их, что и народу не чужды идеи христианской совестливости. Я всегда удивлялся тому, что жизнь предстала перед Достоевским в столь невинном виде. Но мой друг объяснил мне, что «сверху» был прислан приказ тюремному начальству оградить писателя от «быдла», что и было исполнено. Так что Достоевский так и не встретился с тем русским мужиком, о котором он так много писал, и знатоком которого прослыл.

Я столкнулся с самой жизнью, и мы отвергли друг друга – это главное, что я понял за время своих армейских мытарств. Из этого я мог сделать лишь два экзистенциальных вывода: либо быть в оппозиции к жизни и ждать, когда она сомнет меня, либо примириться с ней, открыться «злу».

То, что жизнь сомнет меня, если я буду полностью честен и последователен в своих принципах – это не вызывало у меня сомнений. Если вы не живете в подполье как мышь, если вы последовательно и честно служите добру, тому добру, что открыто человечеству в Евангелии и растиражированно в тысячах томах «мудрых», то конец ваш близок. Это я не буду доказывать здесь. Это я докажу в другом месте. Степень выживания действительно добродетельного человека находится в прямой зависимости от его честности перед самим собой, от силы его зрения и слуха. Откройте свои глаза, свои уши, вспомните о своих святых принципах, поборите свой страх и желание жить и оглянитесь вокруг – вы найдете легионы зла, тьму случаев для того, чтобы ополчиться на него и сломать себе шею.

Примириться же со «злом», то есть принять жизнь и пойти к ней на выучку я не мог. Такое примирение означало бы отказ от всего, во что я так свято верил, от всего, что мне преподали столь любимые мной учителя человечества. Это было выше моих сил!

Бессознательно, а потом и осознанно я выбрал средний путь – я забился как мышь в подполье, я уклонился от схватки. Я утешал себя мыслью, что где-нибудь и я подсоблю делу добра – вот и от меня будет польза! Например, я могу писать трактаты и тем способствовать благу человечества. Этот «мышиный» путь – удел большинства интеллигенции. Просто она не желает признавать это. Пожалуй, единственный, кто действительно честно признал это за собой – Эразм Роттердамский. Но сколько фарисейских сетований и обвинений он заслужил за это от товарищей по «духу». Интеллигенция – то есть те, кто верит в разумное, доброе, вечное – живет во лжи.

Иначе и быть не может – европейская духовность сконструирована таким образом, что она неприложима к жизни. Но всякая тварь божья жить хочет. Вот и приходится европейскому интеллигенту развивать в себе сверхъестественную ловкость в бессознательном лицемерии.

Неизжитый юношеский максимализм? Да! Именно он! Этим обвинением обычно и успокаивают свою совесть «добродетельные» люди – просто, но как эффективно. Честность перед собой и должна быть максимальной. То, что называют взрослением и преодолением максимализма – есть лишь укоренение в двоедушии, когда верят в одно, а делают другое, есть лишь капитуляция перед непреодолимым желанием жить и жить хорошо. Те немногие, что сохраняют искренность юности и делают последовательные выводы из своих принципов, скоро гибнут. Их гибель – на совести платоно-христианской культуры и ее безумных, ядовитых идеалов.

Очень характерно, что в нашей культуре слово «ригорист» приобрело ругательный оттенок. Я обнаружил это случайно. Однажды я жарко схватился с одним христианином, доказывая ему с цитатами из Евангелия на руках, что он и на йоту не следует тому, что проповедовал Христос. Два моих друга, тоже христиане, присутствовавшие при этом, в один голос подытожили наш спор: «Ригорист!» Сначала я отбивался от этого обвинения, поскольку привык видеть за этим словом пренебрежительный, негативный оттенок. Но потом мы заглянули в словарь и обнаружили следующее определение: ригорист – человек до конца проводящий принцип, которого он придерживается. Да! Я – ригорист. Я убежден, что если вы имеете принципы, то вы должны следовать им до конца. Если же это невозможно, то следует отбросить эти принципы как ложные для вас. В противном случае вы становитесь соучастниками преступления: проповедуя то, чему сами не следуете, вы можете погубить жизнь того, кто поверит вам, но кто при этом не обладает вашей фарисейской гибкостью.

Вполне понятно в свете всего вышесказанного, почему ригоризм – это почти преступление в европейской культуре, почему – это крайне неприятное и нежелательное явление.

Я долго бился в сетях этих мучительных дилемм. Всею виной моя проклятая честность перед самим собой. Бился до тех пор, пока не понял, что вся сетка понятий и предпосылок европейского учения о человеке, усвоенная мной со школьной скамьи, с детских пеленок, никуда не годится. Она насквозь ложна и умозрительна. Она – источник либо гибели, либо мучительного двоедушия для тех, кто слишком серьезно принял ее. Я отрекся от «добра» и открылся «злу». Каково же было мое удивление, когда я не только не задохнулся духовно в «болоте зла», но, наоборот, стал жить. Я выздоровел и открыл для себя радость жизни. «Зло» оказалось вовсе не злом, а... Впрочем, об этом после, ибо старые дихотомичные понятия просто не в состоянии описать подлинной жизни. Для этого нужен обстоятельный разговор, и он состоится ниже.

Вернусь к дантовым описаниям своих странствий по армии.

Мне снова повезло. Начальство моей «учебной» части ценило меня – я оказался отличным, тупо-исполнительным солдатом. В награду меня отправили в «аэропорт» – земной рай для солдат, о котором мечтали многие, но которого удостоились лишь единицы. Повезло мне не в том смысле, что мне достались поблажки по службе и различные вольности. Бог с ними! Не до жиру – быть бы живу. Повезло в том смысле, что я не попал в большую часть, в огромную казарму, битком набитую людьми, населяющими бескрайние просторы российской империи. Людьми, которым я оказался чужд и враждебен.⁸ Здесь-то меня быстро вывели бы на «чистую воду» и раздавили.

⁸ Кстати, любопытно и характерно восприятие этими людьми учености и ученых. Я был изумлен, когда в ряде разговоров мои сослуживцы – пролетарии – уверяли меня, что все достижения цивилизации – плод интеллектуальных усилий мужика. Мужик что-то придумывает и изобретает, а ученый потом это присваивает и выдает за свое. Книжки же вообще не вызвали у этих людей интереса. Когда заканчивались газеты, мои сослуживцы вырывали страницы из подвернувшейся книги и отправлялись в туалет. На книгах, купленных мной в армейские годы, сохранились мои надписи: «Книга Белхова. Просьба – листы не рвать!»

Я попал в часть, где было всего шесть солдат. Мы были «на виду» и явное душегубство было невозможно. Мне пришлось испытать лишь чашу насмешек и издевательств, чашу всеобщего презрения.

Но и эта участь смягчалась нашей малочисленностью. Как бы ко мне не относились, но я жил бок о бок с ними, и установление хоть какого-то человеческого контакта было неизбежно. Время от времени мои сослуживцы открывали во мне ту или иную положительную сторону, или навык, не свойственный им. Такие открытия не реабилитировали меня в их глазах, но примиряли их с моим существованием на свете. На вопрос: «Зачем живет такой человек на свете?!» находились хоть какие-то положительные ответы.

Но сначала мне пришлось выдержать натиск. Мой неприятель из четвертой роты сделал все, чтобы настроить всех против меня. Помимо «экзистенциальной» ненависти, здесь был и хитрый расчет. Мы оба были «молодыми», а значит вся тяжесть работ за себя и за других, за «дедов», лежала на нас. Юрка был старше меня на пару лет, – чудовищная разница для этого возраста и этой ситуации – на «гражданке» он работал машинистом, имел семью. Он был мощнее меня и телом и духом. Он быстро сошелся с остальными и решил посредством всеобщей ненависти ко мне повысить свой статус: если есть такое ЧМО как «фара», то несправедливо, что такой человек как он будет равен мне в положении. Юрка будет как бы «молодым» – все тяготы должны достаться ЧМО, «вечному духу». Все признавали справедливость этого, и когда я наотрез отказался выполнять работу за него, надо мной разразилась «гроза».

Я не видел непосредственной опасности пыток или гибели и осмелел. Я признал право дедов эксплуатировать меня, но отказался быть в подчинении у равного мне по «официальному» статусу. Я соглашался нести лишь свою долю иерархических тягот.

Я почти добился этого, но по-прежнему оставался отверженным.

Начальство так же было недовольно мной – от постоянного стресса я стал тупым и медлительным, я стал «тормозом». Возник проект отправить меня в танковый полк, поменяв на другого бойца. Я понимал, что это означает для меня стопроцентную гибель, гибель нравственную или физическую. Но подполковник Душук спас меня. Он сказал, что мы должны воспитывать всех и пытаться сделать из последнего «тормоза» человека. Скидывать же негодный материал другим – негоже. Я не знаю, какими мотивами руководствовался Душук, но на его совести точно есть одна спасенная душа – это я.

Я остался в части, и даже смог отстоять небольшой клочок личной территории, позволяющий сохранить к самому себе хоть какое-то уважение. Хотя попытки раздавить меня время от времени возобновлялись, но в целом солдаты вынуждены были признать мою частичную победу.

Затем, когда я достиг стадии «фазана» – солдата, отслужившего год – я вновь улучшил свое положение. «Фазан» никого не эксплуатирует, но и сам не эксплуатируем – это «официально», по солдатской иерархии. Хотя, конечно, на самом деле, «фазан» эксплуатирует «духов» и «молодых». Я не желал эксплуатировать кого-либо, но отказался быть эксплуатируемым. Пришлось выдержать несколько драк, и от меня отстали. «Как себя поставишь – так и будешь жить» учили меня армейские доброты. Благодаря счастливому стечению обстоятельств мне удалось хоть как-то себя поставить.

Дальнейший «иерархический» рост не улучшил моего положения. Хотя я стал «дедом», я продолжал выполнять свою часть работ – вещь для «деда» не мыслимая. Но я не мог и не хотел заставлять других работать на себя. В большей части эта ситуация обернулась бы моим полным падением на самый низ социальной иерархии. Здесь же этот номер прошел. Мне даже удалось составить небольшую коалицию «молодых» против второго «деда» – Юрки и хоть как-то умерять его беспредел. Когда он пытался злоупотребить своими официальными сержантскими полномочиями, я как комсорг, отказывался подчиняться и требовал публичного отчета

в законности его требований. В этом отношении параллелизм политической и государственной власти, столь характерный для СССР, оказался мне на руку.

В общем, последние полгода моей службы прошли относительно благополучно. Я сам был «дедом» и больше некому было давить на меня. Конечно, я по-прежнему был белой вороной. Сослуживцы не понимали, зачем я читаю ученые книги или что-то пишу на бумаге. Они смеялись над моей робостью перед женщинами, или клеймили меня жадиной, когда я не позволял им пользоваться моей мочалкой, зубной щеткой или лезвием для бритвы. Но все это было уже не так страшно.

Так я и жил, пока, наконец, не был отпущен на свободу. Эти полтора года после «учебки» позволили мне восстановить хоть какое-то уважение к самому себе, так что по возвращении из армии я вновь вернулся к прежнему образу жизни. Я ни на минуту не поколебался в своих моралистических убеждениях. Но мое знание людей обогатилось. В этот, более-менее спокойный, год я смог ближе рассмотреть «простого» человека. Открытия мои были поразительны. Оказалось, что я не в состоянии морально «классифицировать» этих людей!

На первый взгляд я однозначно мог определить их как индивидуалистов (любимое мною тогда словечко), как злых. Они мучили и обижали меня и раздавили бы полностью, если бы это было в их власти. А между тем, я не сделал им ничего плохого. Я просто был непохож на них. И этого им было достаточно, чтобы отказать мне в праве жить.

Их разговоры о женщинах были отвратительны. Вот две «образцовые» истории, что я слышал от них. Передаю, естественно, в своем пересказе, но с сохранением специфики речи.

Первая история была рассказана Колькой К. – парнем из крымской деревни. Он любил радости, доставляемые женщинами, и обладал странной особенностью – когда он соблазнял девушку, глаза его, обычно серого цвета, становились вдруг голубыми-голубыми, ласковыми, бездонными. Вот его история.

«Вот, помню, раз влюбилась, еще на «гражданке», в меня одна баба, лет пятнадцати. Таскалась за мной как собачонка – куда я, туда и она. И глаза такие преданные! Шлюхой оказалась. Раз поехал я с друзьями за кукурузой, и она за мной увязалась. Посидели, выпили. Ну, друзья и говорят ей: «Давай, раздвигай ножки!» А она ни в какую. И все на меня смотрит, как будто ждет чего. Ну, я ей и говорю: «Чего ломаешься – по-хорошему люди просят!» Сказал, да и поехал на мотоцикле домой. Пропустили они ее по кругу. Целкой оказалась! Назавтра она снова ко мне, а я ей и говорю: «Чего лезешь! Ты ведь шлюха!» Мы потом ее всей деревней е...ли – кто хотел, тот и дрючил. Шлюха!»

Вот другой рассказ, иного бойца.

«Была одна такая! Все недотрогу из себя строила. Никак меня не хотела к себе подпускать. Ну, и побегал же я за ней. Да только все равно – моя взяла. Раз завели ее втроем домой – она уже не так меня дичилась. Напоили до отключки. Я и полез на нее. А она все ломается – «Девочка я», говорит. Пьяная вдрызг, а все еще дергается! Надоела она мне. Я ее и перекинул к друзьям на кровать. Те – раз, а она и в правду целочка! «Ну», – говорю – «коль так – давай ее сюда». Поимел. Потом друзья поимели. Всю ночь ее е...ли. Наблевала спьяну прямо на кровать. А утром раскудахталась. Да только мы ей и говорим: «Рот закрой! Ты нажралась и сама на х...й полезла! Мы тут при чем? Наблевала. Убирай лучше за собой!» – и мордой ее в ее же блевотину. Коль, блядь – так и нечего из себя строить!»

Что я мог сказать про этих людей? Свиньи и воплощения зла! Но я видел, что это не так. Они не были вырожденками и отщепенцами. Они были большинством, типичными представителями «простого» народа. Они были славные товарищи друг для друга! Такой человек мог отдать последнее другу. Я знал, что он пожертвовал бы даже собой, чтобы спасти друга. Если бы я тонул, то они и меня, скорее всего, спасли бы, несмотря на все презрение ко мне. Спасли бы так, от нечего делать! А потом еще и «вломили» бы – не лезь, куда не надо!

Так кто же они? Альтруисты или индивидуалисты? Злые они или добрые? Я не мог их определить. Я понимал, что для своих – для тех, кого они уважают, кто входит в их общность – они добры. Для чужих – злы. Они могут пытать лютыми пытками «чужого», и не выдать под пытками «своего». Это я понимал и чувствовал. Это было очевидно. Но вот как это понимание соотносить с понятиями добра и зла – я не знал. И мне было совершенно непонятно, каким образом мое новое знание о «народе» можно и должно вписать в тот образ мира, что сложился у меня из чтения мировой литературы.

Это знание так и осталось на долгие годы для меня «не включенным» в мою систему «абсолютного добра».

P. S.

Я так и не нашел в себе сил прочесть «армейские» дневники – пришлось писать по памяти.

3

11 января 1988 года я отбыл из армии домой. Очень характерно, что я помню эту дату – я, который и день своего рождения иной раз может вспомнить с трудом. Эта памятьливость весьма показательна. Моя «каторга» закончилась. Я был жив и здоров. Теперь следовало забыть тот страшный «сон», что снился мне два года. И я старательно пытался забыть его. Я вернулся к прежней жизни. Я был абсолютно счастлив, ибо то, что было до армии, и то, что будет после нее, представлялось на фоне этого кошмара сущими пустяками. Свобода! Счастье свободы заслонило все – несчастную любовь, отъединенность от философского факультета, тяжкие воспоминания.

Я и не подозревал, что, несмотря на стремительное движение и счастье, я смертельно ранен «армейской» бездной. Яд попал в меня и медленно делал свое дело. Ведь как бы я ни старался все забыть, я знал, что столкнулся в армии с самой жизнью, и позорно проиграл это столкновение. Я мог изображать из себя уверенного, счастливого человека, но внутри меня притаилось презрение к самому себе. Я выжил. Но это не было моей заслугой. По большому, «гамбургскому» счету – а я всегда признавал только такой счет – мое выживание было делом счастливого случая. Я не мог беззаботно радоваться тому, что мясорубка жизни ненароком выпустила меня на волю. Ведь мое освобождение – это, возможно, всего лишь отсрочка. Завтра она, жизнь, может снова захватить меня в свою пасть. Ведь гласит же народная мудрость: от тюрьмы и от сумы – не зарекайся. Что будет, если я снова подвергнусь давлению этих страшных челюстей? Что если это давление уже не будет столь мягким, или не будет сопровождаться столь счастливыми обстоятельствами? Я обнаружил, что все время жил над бездной. Побывав там и вернувшись, я не видел никаких гарантий, что уже не буду низвергнут туда снова, окончательно и бесповоротно. Лев Толстой был заморожен ликом смерти. Я же был заморожен страшным ликом жизни.

Но понял я это лишь много лет спустя. Страх, который жил во мне, был незаметен для меня и я рассмеялся бы в лицо любому, кто вздумал бы просветить меня на этот счет.

Пока же я был счастлив и свободен. Правда, очень скоро, через пару недель, свобода и счастье исчезли – я очень быстро привык к тому, что я уже не «раб лампы», к тому, что я вновь живу в привычной для меня среде.

Более того, очень скоро я сделался вновь несчастным. Это была все та же «несчастьность», что одолевала меня в доармейские годы. Я по-прежнему был несчастно влюблен. Я по-прежнему был одинок. И у меня все еще не было «почтенного занятия», «своего дела».

Еще в армии я попал в своеобразный «колодец субъективного» – окружающая действительность была столь отвратительна и пугающая, что я полностью погрузился в свои чувства и

мысли, со всеми вытекающими отсюда пагубными последствиями. В некотором роде это было сумасшествие – «варясь в собственном соку», я перестал трезво воспринимать вещи и людей, и, прежде всего, самого себя.

В эти годы в СССР громыхла «Перестройка». Я старательно читал газеты и журналы и всей душой участвовал в происходящем. В армии я написал странную книгу. Это был политический памфлет, написанный эзоповым языком – прямо писать о том, что думаешь, все еще было страшно. Я отослал рукопись маме, получил ее назад в отпечатанном виде, и через Владу попробовал распространить среди студентов философского факультета. Помимо всего прочего, это была попытка возобновить и развить отношения с Владой, попытка очаровать ее своим умом.

Мне и сейчас стыдно вспоминать об этой истории. Извинением, мало меня утешающим, может быть лишь мое сумасшествие.

Книга была дрянной, но Влада, по доброте душевной, пообещала попробовать «распространить» ее среди «мыслящих» студентов. Но вскоре она обнаружила и моего троянского коня – мое желание войти в контакт с ней. Естественно, она достаточно жестко отреагировала на это. В ответ я нахамил, в надежде сделать невозможным для себя вновь обратиться к ней. Моя гордость страдала от осознания неспособности преодолеть страсть к этой девушке.

Возвращение домой не улучшило моего положения. Я все еще пребывал в «колодце субъективного». Меня переполняли мысли и чувства, но мне не с кем было поделиться ими, и они бурно загнивали в моем мозгу.

Я пробовал писать. Для этого я ходил в читальный зал МГУ, воспользовавшись старым, доармейским читательским билетом курьера университета. Но вид счастливых – студентов МГУ – делал меня еще более несчастным. Вокруг бурлила жизнь: люди постигали науки, веселились, влюблялись, ссорились. Мимо меня проплывали важные профессора, пробегали «ботаники», прокатывались шумные ватаги; девушки сверкали голыми коленками из-под коротких платьев и манили накрашенными губами – я же брел мимо, печальный и подавленный. Мне ужасно хотелось всего этого. Но это богатство жизни было мне недоступно. Я был никто, мошенническим образом, проникший в читальный зал университета. Даже если мне удалось бы познакомиться хоть с кем-то, я просто не осмелился бы признаться, что я – никто. У меня не было ни профессии, ни звания, ни статуса. Я – тот, кто вернулся с «каторги».

В довершении моих несчастий, я время от времени встречал Владу. Она не замечала меня, я не замечал ее. Но притяжение любимой было столь сильно, что против своей воли, стыдясь и коря себя за слабость, я несколько раз пробегал с деловым видом мимо нее. Сердце мое бешено билось, голова была в тумане. Наконец я овладевал собой, меня заполняли ненависть к самому себе, презрение к своей слабости. Тогда я выбегал на улицу и, как сумасшедший, носился по территории университета, стараясь в быстрой ходьбе найти облегчение.

Я утешал себя мыслью, что в этих зданиях много людей, но по идеальному, конечному счету здесь должен быть, возможно, один лишь я. Ибо гений всех времен и народов – это я. И это скоро обнаружится. Я поступлю в университет, получу право публиковать свои сочинения, и мир не сможет не заметить меня. Он покорится мне. Он будет у моих ног. Умные люди захотят общаться со мной – у меня будут друзья. Мои книги будут читаться и почитаться – у меня будут деньги и слава. Вслед же за славой придут толпы поклонниц. И, возможно, Влада поймет, как сильно она ошиблась, как сильно она просчиталась, как глупа она была, не распознав в гадком утенке мировое светило!

Успокоенный, но несчастный я возвращался в читальный зал и продолжал писать статью о бюрократии как господствующем классе.

После, окончив ее, я попытался пристроить свой текст в журнале «Новый мир». Ничего не вышло. Статью вежливо отвергли. Возможно, она и в самом деле была не стоящей.

Весной я поступил на работу в издательство МГУ. Опять курьером. Это несколько развеяло меня. Новые впечатления и новые хлопоты притупили мой душевный надрыв. По долгу службы я посещал министерство образования – относил бумаги. Часто такие посещения больно уязвляли мое самолюбие: чиновники принимали меня за солидного человека, вежливо здоровались, протягивали руку, предлагали присесть и резко менялись в лице, когда узнавали, что имеют дело лишь с курьером.

В издательстве мне нравилась одна девушка, но она не обращала на меня внимания. Мое приглашение в кино вежливо отвергла.

У меня появился приятель – Владлен. Он был курьером из соседнего отдела. Однажды я стал свидетелем забавнейшей сцены. Рассказываю ее, как весьма характерную для того времени историю.

Владлен любил являться на работу в шортах – привычка вполне простительная для семнадцатилетнего юноши, работающего курьером. Начальница сделала ему замечание. Владлен возразил: почему девушки могут приходить на работу в шортах, а он не может? Начальница ответила: «Они надевают под шорты колготки. Если ты так же будешь одевать под шорты колготки, то можешь являться на работу в шортах». Естественно, такая перспектива его не воодушевила, и с тех пор он приходил на работу в шортах; здесь же надевал брюки. И вот раз, он прибежал совершенно не в себе – Владлен был на митинге. Он был возбужден смелостью и радикальностью идей этого митинга. Он был счастлив быть свободным и радикальным. Он мог кричать на митинге во всю глотку: «Долой КПСС!» Обо всем этом, захлебываясь от восторга, Владлен рассказывал мне в туалете, снимая шорты и одевая брюки. Внезапно он замолчал, переменялся в лице – страх исказил его черты – и запрыгал на одной ноге, так как запутался в брюках, к закрытой кабинке. Ему показалось, что она очень подозрительно закрыта, что там, в кабинке, сидит человек, который все слушает, все записывает и все, возможно, донесет до ушей всемогущего КГБ. В отчаянии он ломился в закрытую дверь, как сумасшедший. Смеясь, я успокоил его, сообщив, что уже два дня кабинка закрыта из-за неисправности. Но я был поражен столь мгновенной сменой политического радикализма и смелости безграничным ужасом перед властью. Впрочем, такими перепадами страдали почти все в те безумные годы советской «перестройки». Кстати, в девяностые я встретил однажды Владлена на улице. Теперь он был уже патриотом и государственнымником, горько жалел о гибели СССР, клеймил «дерьмократов».

Примерно, в то же время, вернее, год спустя, я утерял веру в коммунистические идеалы. Здесь я, пожалуй, дам пояснения, с тем, чтобы были понятны некоторые мои поступки, которые я совершил впоследствии.

Дело в том, что большевикам я перестал верить очень рано. Мой отец пережил коллективизацию, потом он служил в войсках НКВД. То, что он видел, внушило ему неизбывные страх и отвращение. Отец столкнулся с нечеловеческой практикой советского режима. Он больше не верил словам большевиков, ибо на собственной шкуре испытал их дела. Но пропаганда делала свое дело – западный мир казался ему столь же ужасным. Он сделал вывод, что государство – это страшное зло, но зло необходимое. Как человек сталинской эпохи, отец понял: лучше не высовываться – серп срезает лишь высокие колосья; самый лучший способ спастись – раствориться в общей массе. Именно этим он и занимался всю жизнь. Это было неадекватное поведение. Уже давно почти никого не сажали и не расстреливали, но страх, пронзивший его во времена сталинских чисток, был по-прежнему живым. Он мог бы сделать блестящую карьеру, поскольку окончил элитарный институт, но он не вступил в партию и отказался от выгодных, но заметных должностей, поскольку боялся быть «вырублен» как заметная фигура. Этому же стилю поведения он учил и меня.

Мой отчим так же не любил большевиков, поскольку, как человек в совершенстве знающий несколько западных языков, он имел доступ к множеству источников информации, разрушающих в его глазах ту глянцевую реальность, что усиленно поддерживал правящий режим.

Но отчим так же не смог полностью преодолеть тотальность советской пропаганды. Хотя он и прочел все книги, хранящиеся в спецхране, он так и не смог побороть соблазн коммунизма. Капитализм был ему ненавистен, так же как и власть КПСС. Самое лучшее, что отчим смог придумать – соединить Маркса с Христом.

Таким образом, с детства я не питал иллюзий относительно большевиков, но верил в коммунистические идеалы и в правое дело «Октябрьской революции». Верить во все это мне было тем легче, что эти идеалы напрямую вытекали из европейского морализма. Относительно святости абсолютных моральных ценностей согласны были все – и коммунисты, и христиане, и либералы, и фашисты, и различные прочие «исты». Различия начинались лишь в толковании нюансов, в предпочтении акцентов и в выборе средств.

Поскольку я верил в коммунизм, постольку мне больно было смотреть на происходящее вокруг. Я был убежден, что СССР погубят индивидуализм и мещанство его граждан. Однажды я стал свидетелем почти пророческой сцены.

Я учился в десятом классе. Мой друг, любивший технику, затащил меня на международную техническую выставку. По выставке бродили толпы людей. Это были мирные, почтенные люди всех возрастов и статусов. Вели они себя так же, как ведут себя другие люди в других странах на подобных же выставках. В общем, ничего особенного. Но была одна особенность, которая мгновенно разрушала эту обычность.

Дело в том, что Совдепия была очень блеклой страной. Краски жизни не жаловались здесь. Поэтому советский человек реагировал на все заграничное, а значит, яркое и блестящее, как туземец на стеклянные бусы. Обладание такой вещью радовало ее владельца, свидетельствовало о его приобщенности к высшим сферам, то есть к тем, кто может выезжать за границу, демонстрировало его достаток.

И в тот момент, когда иностранные представительства на выставке выкладывали яркие рекламные плакаты и сувениры, толпа шалела, и каждый ломился за своей долей маленького разноцветного счастья. Ломились потому, что плакатов на всех не хватало. По возможности, иностранцы, удивляясь, выносили новые порции, но их все равно не хватало – они ведь не подозревали, что столько советских людей мечтает ознакомиться с их техническими достижениями.

Ажиотаж был всеобщим. Немногие были свободны от него. Я, как моралист и сознательный коммунист, с презрением смотрел на соотечественников – разве можно было так позориться перед иностранцами!⁹

В центре выставки находился огромный отсек советских технических достижений. На его огромной стеклянной стене была нарисована карта СССР, презрядных размеров. И вот, в соседнем павильоне, павильоне японской техники, вынесли порцию особенно ярких плакатов. Толпа взбесилась от вожделения и разом ринулась на японца. Тот в ужасе попытался скрыться в глубинах служебных помещений. Он не понимал, что происходит и, быть может, думал, что это – погром. Это только усилило сумятицу, – плакаты уплывали из рук.

Весть о чудо-плакате мгновенно разнеслась по выставке. Никто, ничего, никому не говорил. Да этого и не требовалось. Каждый советский человек мог по малейшему движению в толпе узнать – рядом «выбросили» дефицит. Само это советское словечко дорогого стоит. Выбрасывают объедки свиньям, и они с ревом бросаются на них, давя и расталкивая соперников. Именно так и выглядела сцена «выбрасывания» копченой колбасы, романа Дюма, туалетной бумаги, зимних сапог или еще чего-нибудь в этом роде на прилавок магазина. Продавец «выбрасывал» товар с презрением и осознанием собственного величия, ибо он – двоечник и

⁹ Установка весьма характерная для российского человека. Большинство воспринимает ее как очевидную и естественную, не подозревая ее культурной и исторической обусловленности. Большинство наших политиков разделяют эту иллюзию, демонстрируя свое невежество и тупоумие в вопросе, в котором они претендуют на статус экспертов.

хулиган в школе, как неоднократно ему внушали, коря, учителя – уже запасся этим чудным добром в избытке и теперь с удовольствием наблюдал как те же учителя и бывшие отличники, а ныне профессора и инженеры, со звериным ревом рвут жалкие крохи того, что уже было изрядно расхищено торгующими людьми.

Толпы людей стремительно сбегались к японскому отделу. И вот я вижу как огромная баба с выпученными глазами, стремительно пробегая мимо карты СССР, ненароком сбивает с ног девочку лет десяти. Та отлетает в сторону, как пушечное ядро ударяет в стеклянную стену павильона и исчезает в падающих обломках того, что за секунду перед этим было картой Советского Союза. Следующая картина – девочка выскакивает наружу и стремглав убегает. Убегает разумно, ибо в милиции именно она будет обвинена в разрушении витрины, и чем это кончится – неизвестно. Люди шарахаются в сторону, ибо и они не хотят, чтобы подозрение пало на них. Площадка быстро пустеет. Японцы удивленно качают головами.

Вся «европейская часть Советского Союза» лежит скучными обломками на полу.

Вернувшись домой, я записал увиденное для памяти и в конце записанного прибавил: «Пророческая сцена! Советский Союз погибнет из-за мещанства его граждан»

Сегодня я дал бы другую оценку. Государственный строй, который превращает своих граждан в запуганных скотов, – обречен. Они не осмелятся и не пожелают его защищать. В лучшем случае, они придут в качестве зевак посмотреть на его гибель. Все так и было, когда рушился СССР.

Всякий, кто вырос при большевиках, был свидетелем многого. И, честно задумавшись, он не сможет защитить словом погибшую антиутопию. Именно поэтому я презираю коммунистически настроенных современников. В лучшем случае, их коммунизм и большевизм – следствие патологии памяти или честности, прежде всего, перед самими собой, а потом уже, перед детьми. В худшем же случае – это непроходимая глупость.

Тот поток информации, что обрушила на нас «перестройка», не сильно поколебал мою веру в коммунизм и «Октябрьскую революцию». Он лишь усугубил мой антибольшевизм.

Но вот, однажды, мой друг вступил со мной в спор, и я не смог рационально защитить свою веру. Я разозлился, я почти поссорился с ним. Когда мы расстались, я долго стоял на платформе метро, пронзенный щемящим чувством пустоты внутри себя – я не мог не признать правоту его доводов и беспомощность своих ответов. Следовало признать истинность его позиции. Но против этого восставала вера, внушенная мне с детства в святость идеалов Октябрьской революции, в святость борьбы за социальную справедливость. Я махнул рукой и постарался забыть о нашем разговоре. Но на следующее утро я уже не смог найти в себе прежней веры в коммунистические идеалы. С этого момента я стал убежденным сторонником капитализма и либерализма. Я и по сей день таковым являюсь. С той лишь разницей, что теперь я не забываю, что живу в России, и что мой либерализм – это российский либерализм. В чем различие западного и российского либерализма говорить не буду – я и так слишком отвлекся от темы.

Работа немного рассеивала меня. Но я по-прежнему пребывал в сумасшествии. Мои экзистенциальные проблемы сохранялись, они гнивали все больше и смрадом своим отравляли разум. Я впадал то в одну, то в другую крайность. Вот небольшой пример.

У меня была знакомая – Алла. Девушка интеллигентная и одухотворенная. Мы познакомились с ней на подготовительных курсах. Не знаю почему, но она иногда общалась со мной. Потом она отвечала на мои армейские письма. Это была единственная девушка, с которой я общался. Или, вернее, это была единственная девушка, которая общалась со мной – другие, поговорив со мной пару минут, с ужасом удалялись.

Как романтик и идеалист, я уважал ее. Но иногда я впадал в цинизм. Мне приходилось наблюдать сцены оболыщения женщин – мужчины ловили их, как ловит маленьких красивых, но очень глупеньких рыбок опытный рыболов. Не всегда эти женщины были грубы и вульгарны. Часто я наблюдал как интеллигентные и одухотворенные девушки ловились на крючок мужчин весьма сомнительной, в моих глазах, моральной репутации. Видя это, мне хотелось крикнуть этим девушкам: «Что вы делаете! Где ваши глаза? Ведь он – мерзавец! Он – прямая противоположность того, что вы декларируете! Вам нужен я! Ведь я – один из немногих, кто живет согласно тем идеалам, что любите и желаете вы». Но нет, девушки ловились на крючок рыболова, и оставались равнодушны ко мне. Тогда я начинал ненавидеть их и презирать. Я говорил себе: «Цинизм и людоедство – вот чего они заслуживают!» Но я не мог, не решался быть таким. Но иногда отчаяние внушало мне уверенность, что я должен быть таким. Поскольку знакомых девушек у меня не было, такие приступы цинизма заканчивались ничем.

Но вот Алле не повезло. В какой-то отрезок времени она оказалась моей знакомой. И однажды она стала жертвой такого приступа.

Я забыл об этой истории, но чтение дневника воскресило ее. Я долго хохотал над невменяемостью того Белхова и изумлялся тому, как тонко и с каким юмором Алла отделалась от безумца.

Впав в цинизм, я набрался смелости, если не наглости, и при встрече прямо и грубо предложил Алле стать моей любовницей. Она же, внимательно посмотрев на меня, и, немного помедлив, ответила: «Интересное предложение. Но я не могу им воспользоваться. В ближайшее время я надолго, возможно, навсегда уеду. Кроме того, мое здоровье не позволит мне стать твоей любовницей». Озадаченный и смущенный я удалился, ломая голову над тем, что же это за страшная болезнь, что не позволяет Алле стать моей любовницей. Конечно же, она пошутила. Но ее ирония, как всякая хорошая ирония, изумительно точно высвечивала суть ситуации.¹⁰

Мне и сейчас немного стыдно за выходки того молодого безумца. Но характерно, что те же самые повадки и те же самые сумасбродства я ныне наблюдаю у знакомых мне романтиков и идеалистов – то они готовы молиться на женщин, то впадают в исступление и считают их всех шлюхами.

Тогда же со мной случилась и другая история.

В соседней прачечной я пытался заигрывать с работающей там женщиной. Поразмыслив, я решил, что с пролетаркой у меня больше шансов получить сексуальный опыт. Я старательно изображал из себя опытного плейбоя, но, думаю, прачка сразу раскусила меня, а, раскусив, перекинула подруге, которая очень нуждалась именно в таком «лохе».

Ее звали Мария. Как потом выяснилось, она была из украинской деревни, жила в общности и несколько месяцев как забеременела от какого-то милиционера. Тот был мил ее сердцу, но вовсе не собирался жениться. Естественно, ей нужна была прописка, жилье и мужчина, который стал бы ей мужем и отцом ее ребенку.

Я подходил идеально под эту комбинацию – теленок, изображающий льва.

Неделю или две она позволяла мне ухаживать за ней. Потом мне разрешено было сажать ее на колени и целовать. Впервые в жизни я целовал женщину – мне понравилось. Понравилось и держать в руках горячее женское тело.

¹⁰ Кстати, в то время многие намекали мне, что у меня не все в порядке с головой. Но я с гневом и возмущением отвергал подобную «клевету». Ведь для меня было очевидно, что подобное восприятие окружающих лишь указывало на их неспособность понять мою утонченность, глубину, гениальность, особенность. Забавно, но отчасти я был прав. Я, конечно, был сумасшедшим и заслуживал подобную оценку. Но если бы я был мудрецом, то большинство время от времени также констатировало бы мою «странность».

Но дело сорвалось. То ли она не была достаточно хищной, то ли рассудила, что, одурачив меня, она не одурачит мою маму – та просто могла воспротивиться ее прописке в нашу квартиру. Возможно, она пожалела мою наивность и романтичность. В общем, Мария пошла ва-банк. Придя ко мне домой, достаточно пообнимавшись со мной на диване, она отказалась отдаться, но рассказала свою историю и предложила мне взять ее всю – ее тело, ее руку и ее будущего ребенка. Естественно, я отказался, поскольку, даже будучи романтиком, я оставался прагматиком – здоровое крестьянское воспитание моей бабушки делало свое дело. После этого Мария исчезла.

С тех пор я неоднократно становился объектом подобных манипуляций со стороны женщин. Неудивительно. Я так долго выглядел и был круглым дураком. Потом же, когда я перестал таковым быть, я продолжал таковым выглядеть в глазах людей, не понимающих чисто духовных (ох, не люблю я это слово!) мотиваций.

Забавно, что недавно я подвергся подобной же атаке. Забавно, потому, что я давно уже перестал быть тем, кто может возбудить своим якобы неискушенным видом желание поохотиться. Думаю, что эта попытка объясняется просто глупостью охотницы.

Пожалуй, я расскажу и эту историю. Она прекрасно иллюстрирует мое утверждение, что любой моралист в большей или меньшей степени живет по двойному стандарту.

Итак, история о глупой охотнице.¹¹

Коллега моего друга – философиня, окончившая кафедру эстетики, кандидат наук по имени Жанна – затеяла открыть в институте новую специальность. Мой друг порекомендовал меня, как человека, способного прочесть курс лекций по теории и практике коммуникации. Я несколько раз говорил с ней по телефону, потом был приглашен на кафедру, где произвел приятнейшее впечатление – меня давно уже не возбуждают академические игры, но при необходимости я успешно играю в них. Потом Жанна несколько раз пользовалась моей обширной библиотекой. Еще позже приняла мое приглашение осмотреть библиотеку лично. Приглашал я ее без всякой сексуальной цели, так как уже несколько лет перестал быть плейбоем, остепенился и довольствуюсь обществом любимой женщины.

Пригласил из интереса к ее личности. Классический образчик морализма, романтизма, идеализма и прочей дряни, коей нас так обильно подкармливает наша культура.

Именно из-за этого интереса я и терпел все ее «невротические» выходки: говорила она так, как будто держала речь на ученом совете; за стол не давала сесть, пока все не будет разложено красиво; фыркала и «падала в обморок», когда слышала народное или жаргонное слово типа: «окучивает», «трахаться» или «задница». Иной же раз, почти оскорбляла, не подозревая об этом. Например, случилось так, что она оказалась невольной участницей моего разрыва с давним другом. Она была смущена, и чтобы подбодрить ее, я вынужден был посвятить Жанну в суть разрыва. Естественно, я был эмоционален и страстен – не каждый день приходится рвать отношения с человеком, с которым дружил больше десяти лет. В середине разговора она прервала мои душевные излияния вопросом: «Сергей, Вы, конечно же, выпили?» Мне никто и никогда не говорил, что моя эмоциональность производит экстраординарное впечатление. Так что, мне было обидно, что мою душевную боль квалифицируют как пьяный кураж. Когда я попытался мягко отметить это, Жанна посоветовала мне не проецировать свои невротические проблемы контакта на здоровых людей, то есть на нее. Разговор она закончила фразой: «Я поняла суть ситуации. Надеюсь, Вы были искренни со мной». Черт возьми, я целый час изливал свою душу, свою боль, так что меня даже квалифицировали как пьяного за «излишнюю» живость голоса, и в итоге, мне выражают надежду, что я был искренним! Да если бы я

¹¹ Все, кто читал рукопись моей книги, хором заявляли мне, что «рассказ о глупой охотнице» излишен, что он неоправданно обременяет книгу, нарушая последовательность повествования. Я и сам вижу это. Но соблазн оставить этот рассказ очень велик. Можете, если вдруг станет скучно, пропустить это место.

сказал ей эти две фразы, когда она, в свою очередь как-то рассказывала об очень личном, то думаю, оскорбил бы ее навеки веков.

Как бы то ни было, Жанна пришла ко мне в гости. Экспромтом я позвал и своего друга – нашего общего знакомого. Поскольку я был у себя дома, в неформальной обстановке, я позволил себе предаться своей любимой забаве – я разыграл роль мелкого беса, смущающего добродетельного человека «опасными» идеями и «страшными» историями из реальной жизни. Ужас Жанны был столь велик, что мой друг даже был вынужден успокаивать ее: «Жанна, не обращай внимания! Сергей нарочно рассказывает подобные истории. Он полагает, что тебе будет полезно услышать о том, что происходит за стенами интеллигентской квартиры. Да и эффект от этих историй ему приятен».

Да, Жанна была шокирована изрядно. Мои фразы: «Этика – это куча дерьма на теле человечества», «Если можно получить удовольствие, его надо получить» и прочее заставляли ее бурно протестовать и возмущаться. В общем, вечер удался на славу! В некотором роде, она даже выступила в роли моей музыки – тип был настолько классическим, что я вдруг изобрел схему-образ, идеально иллюстрирующий мою философско-экзистенциальную позицию и позицию, которой я противостою. В другом месте я воспользуюсь этой схемой, и, может быть, вновь вспомню Жанну как иллюстрацию к этой схеме.

Жанна была шокирована, и я понял, что больше так повеселиться мне не удастся – она просто не придет снова. Каково же было мое удивление, когда она стала очень часто звонить мне по различным поводам. Затем она вновь пришла в гости. Она пожарила картошку, накрыла на стол и пыталась кормить меня с рук, намазывая паштетом хлеб. При этом она уверяла меня, что я скрываю под своей общительностью и жизнерадостностью свои несчастье и одиночество. Таковым я себя не чувствовал и говорил ей, что здесь чистая проекция – несчастной и одинокой выглядит она. На прощание я дал ей по случаю кассету с фильмами Гринуэя: «Повар, вор, его жена и ее любовник» и «Книги Просперо» – ей понравилась музыка к этим фильмам.

На следующий день я схватился за голову – боже, зачем я дал ей эти фильмы! Я увидел их глазами Жанны: нагота, секс, насилие. Ведь при моей «подмоченной» репутации она не поверит, что эти фильмы почтенны и элитарны. Она решит, что я подсунул ей порнографию! И правда, Жанна была в шоке. К счастью, она слышала от кого-то о режиссере, и знала, что он почтенен и элитарен. Но «ужас», открывшийся ей с экрана, был ей не по силам. Все мои угрозы не ограничиваться первым фильмом на кассете и посмотреть второй, все мои уверения, что там чистый Шекспир – добродетельный и невинный – не помогли. Она вернула кассету.

Забавно получилось и с телефоном Жанны. Мне срочно надо было позвонить ей. Я кинулся искать и понял, что записал его на бумажке и потерял. Тогда я позвонил другу – ее коллеге и взял телефон у него. Первое, о чем спросила Жанна, когда я позвонил ей – откуда у меня ее телефон? Я сказал, что она сама дала мне его, но я потерял его и взял у друга. Дмитрий не хотел его давать мне, но поверил, что она уже дала мне его. «Да, – сказала Жанна – я просила не давать его кому-либо. А тебе я своего телефона не давала». Я был удивлен, но понял, что ошибся. Тогда я предложил вычеркнуть его, как полученный нечестно. Но она не стала настаивать.

На следующий день Жанна спросила моего друга – откуда у меня ее телефон? Друг соврал – «Ты сама дала ему его» – и попался как мальчишка. Когда я услышал об этом, я был удивлен вдвойне. Во-первых, она была уже у меня в гостях, неоднократно звонила мне, но при этом не посчитала нужным дать свой телефон. Во-вторых, зная, откуда у меня появился ее телефон, она зачем-то подлавливает, как мальчишку моего друга. Удивленный и возмущенный, я вычеркнул ее телефон. Вскоре она узнала об этом, но телефона не предложила!

Выслушав мои рассказы об общении с Жанной, моя любовница сразу заявила: «Жанна «окучивает» тебя как мужчину». Я полагал, что это возможно, но пока не очевидно, и отмечал, что ни словом, ни делом не давал ей поводов к этому. Но после ряда звонков Жанны, я так

же уверился в том, что являюсь предметом «окучивания». Но тогда возник вопрос: «Почти любые мои слова, фразы и мысли вызывают в ней шок. Очевидно, дела и жизнь мои вызовут в ней еще более сильные эмоции. Так зачем же она так активно затевает роман со мной? Обычно влекутся к тому, кто близок во всем, а не к тому, кто шокирует инаковостью. Почему Жанна кривится, морщится, но «ест»?»

В третий визит Жанны я, кажется, нашел ответ. Я даже пошутил, памятуя о реплике Шерлок Холмса: «Загадка на три визита».

Перед Новым годом Жанна вновь попросилась ко мне в гости. Она сказала, что не сможет справиться со мной Новый год и во время визита приоткроет причину этого. При этом она добавила, что если встреча пройдет так, как она ожидает, то мы вдвоем встретим старый Новый год.

Меня позабавила такая настойчивость Жанны, и я окончательно уверился в ее «романных», а значит, зная ее, и «матримониальных» намерениях.

С первых же слов я понял, что Жанна собирается выдать мне некоторую порцию информации о себе и посмотреть, какова будет реакция. Если я «скушаю» эту порцию, то можно давать следующую. Чисто манипулятивное поведение. Я не раз наблюдал подобную тактику у женщин, «окучивающих» меня. Все, что она делала в этот визит, было мне хорошо, слишком хорошо знакомо.

Сначала всплыла информация о том, что у нее есть дочь. После того, как я отнесся к этому спокойно, всплыла, как бы случайно оказавшись в сумке, фотография дочери. Чуть позже я услышал о том, что она – не москвичка. «Так ты снимаешь квартиру? – «В общем-то, да» – последовал смущенный ответ.

Еще чуть позже она делится со мной неким конфиденциальным обстоятельством своей жизни и со страхом ждет моей реакции. Я отвечаю: «Я знаю еще более «сильные» случаи, чем твой. Твой случай не самый ужасный. Он нейтральный. Я вижу, тебя мучает это, и мучает по двум причинам: ты переживаешь и морально осуждаешь себя. Твои переживания оправданы. Это тяжело. Но это надо пережить. При случае ты исправишь эту ситуацию. Моральное осуждение – это ерунда. На это не надо обращать внимания» Она ждала осуждения с моей стороны, но не получила его. Тогда она вновь заявила мне, что хочет встретиться Старый Новый год вместе со мной. Еще бы – все опасные подводные камни, способные испугать мужчину-москвича, она преодолела!

Разговор продолжался дальше. К слову, я рассказал о том, как в «молодости» брал «подношения» у студентов и о том, как меня выгнали за это из института. На ее очень интимную информацию, я ответил тоже достаточно интимной информацией. Господи! Что с ней стало. У нее было такое выражение лица, как будто она наступила в кучу дерьма. Слова были подстать ее выражению.

Напрасно я говорил ей, что больше не принимаю «подношений». Не потому, что это плохо. Нет, тогда я полагал, что если государство наплевало на меня, если общество наплевало на меня, то это значит, что оно предоставило мне позаботиться о себе самому. Если общество активно использует меня как институтского преподавателя высокой квалификации, но при этом платит мне, человеку с ученой степенью, сорок долларов в месяц вместо законных нескольких тысяч, то, как может оно осуждать меня за «подношения». Ведь я не ворую, не убиваю, не вымогаю. Я просто даю возможность тем, кто не хочет учить философию, ее не учить – остальным открыта мной масса возможностей не очень напрягаясь, посещая лекции и работая на семинарах, получить хорошую оценку.

Я говорил ей о моем страдании, когда меня выгнали – я любил институт, в котором работал, любил и уважал заведующего кафедрой как родного отца, тепло относился к коллегам, и мне отвечали взаимностью. Я был так потрясен, что через месяц попал в больницу и провалялся там пять месяцев. Мне дали инвалидность второй группы на год. Теперь я не беру ни

при каких обстоятельствах, поскольку дорого заплатил за прежние «подношения» Я беру... я брал...

«Ты сказал: «беру!»!» – Жанна почернела лицом – куча дерьма, в которую она наступила, росла на глазах.

Здесь уж взорвался я: «Кто ты такая, чтобы ловить меня на оговорках, и подозревать во лжи! Ты не прокурор и не следователь, чтобы я тебя боялся и врал! Врет тот, кто боится. Я же стараюсь жить так, чтобы никого не бояться. Если я не побоялся сказать правду своему зав. кафедрой, после чего он меня и выгнал, то уж тебе-то мне и подавно нет смысла врать!»¹²

Я пытался говорить ей о своем страдании – она обдала меня холодом презрения. Забавно, она думала шокировать меня своей информацией, а вышло все наоборот. На ее признание я ответил сочувствием и поддержкой, хотя ее случай, о котором я намеренно умалчиваю, с точки зрения ходячей морали куда более достоин презрения, чем мой. Она ждала осуждения, но получила понимание. Зато меня она старательно осудила. Осудила с позиции морали. Мораль всегда безнравственна, поскольку не позволяет человеку обратиться к своему сердцу. Вместо этого она пробуждает в его голове лишь интеллектуальных пиявок.

Она была потрясена так, как будто перед ней разверзся пол и сам Люцифер появился оттуда. Когда я заметил ей это, она сказала, что готова уже ждать от меня чего угодно. Она не чувствует теперь себя в безопасности.

– «Может быть, ты думаешь, что в следующую нашу встречу откроется, что я еще по воскресениям и младенцев режу?»

– «О, теперь я жду чего угодно!»

– «Бедная Жанна! Как же ты жить-то будешь, если безобидного хомяка ты принимаешь за волка?! И что будет с тобой, когда ты действительно встретишь волка?»

– «Это кто – хомяк? Ты?»

– «Конечно, я. Ну, не волк же, в самом деле?!»

Редкой глупости дама! Но типаж классический!

Через некоторое время добродетельная Жанна засобиралась домой. Было уже пол девятого, а она с самого начала собиралась уйти в восемь. Проходя мимо меня, она, глядя на часы, процедила сквозь зубы: «Ничего, пусть побесится!» Фраза была обращена не ко мне, и я не обратил на нее внимания. Мы расстались неплохо – она почти «простила» меня.

Проводив ее и, вернувшись домой, я вспомнил загадочную фразу, поразмышлял и все понял!

Далее следует моя гипотеза. Она базируется на косвенных фактах, на моем опыте и моей интуиции. Можете оценивать ее достоверность как угодно.

«Ничего, пусть побесится!» Сказано было со змеиной злобой, с такой злобой, что возникает от длительных «закрытых», полностью «протухших» отношений, и сказано человеком,

¹² Это правда, выгнали меня на основании лишь моего признания. Об этом скажу подробнее, ибо в итоге приведу любопытное наблюдение, напрямую касающееся темы моей книги. Дело в том, что меня никто не ловил за руку. Просто однажды заведующий кафедрой спросил меня: «Сергей, правда ли, что Вы берете?» Поскольку я любил и уважал его, я не мог солгать ему: «Да, это правда...» – «Тогда пишите заявление о своем уходе!» Я был несколько удивлен таким поворотом. Я рассчитывал, что буду осужден и прощен. Я надеялся, что смогу дать честное слово больше этого не делать, и делать этого больше не буду. Дело в том, что я думал, что П. знает о моих проделках. Я был поражен, когда обнаружил, что в институте нет книг, по которым студенты могли бы изучать философию. Тогда я использовал часть «подношений» на то, чтобы составить кафедральную библиотеку. Кроме того, я «забросил» полсотни хороших учебников в институтскую библиотеку, сославшись на неизвестного спонсора. И когда заведующий кафедрой публично вынес мне благодарность за то, что я «принес из своей библиотеки книги на кафедру», я решил, что он все знает. В самом деле, откуда у меня в библиотеке может взяться десять двухтомников Ницше или пять одинаковых томов Платона? Но дело не в этом. Интересна та реакция, которую я получил от своих друзей и знакомых. Моралисты осуждали меня за подношения, неморалисты относились к этому спокойно. Когда же меня выгнали, то неморалисты отнеслись спокойно к тому, что меня уличили на основании моего же признания. Моралисты же смеялись надо мной: «Дурак! Зачем же ты признался, когда ничто и никто, кроме слухов, не свидетельствовали против тебя!» Комментарии излишни.

считающим агрессию злом. Так кто же должен побеситься? Очевидно, тот, кто ее ждет дома. И явно, это не старушка, у которой, возможно, она снимает квартиру. Если у Жанны чисто деловые отношения с хозяином или хозяйкой, то какое тому или той дело, когда Жанна явилась домой. Беситься может лишь тот, кто находится с ней в личном отношении.

Скорее всего, причиной ярости может быть ревность. И, скорее всего, это мужчина. Ага! Жанна как-то неопределенно ответила на мой вопрос об аренде квартиры.

Далее, если это мужчина и Жанна находится с ним в некоторых личных, интимных отношениях и за счет этого имеет крышу над головой, то тогда все понятно про ее телефон. У моего друга, ее коллеги он есть, а у меня, у будущего любовника и мужа, нет – на воре и шапка горит. Когда у меня был роман с замужней женщиной, то я не имел номера ее телефона – она звонила сама. Жанна не замужем. Следовательно, она пользуется мужчиной, хозяином квартиры, довольна им и хочет изменить ситуацию. Я идеальная фигура. У меня большие излишки жилой площади. Да и сам я – мужчина видный и интересный, как любила говаривать моя бабушка. Если я женюсь на Жане, то она получает мужа, квартиру и решает ту проблему, о которой она конфиденциально поведала мне. Теперь понятно, почему Жанна «кривится, морщится, но ест». Уж больно заманчивая цель – можно и потерпеть. Ай да моралистка! Ай да добродетельная женщина! Но ведь искренняя моралистка! Но ведь, действительно, свято верует в добро и ненавидит зло! Вот это я и называю двойным стандартом жизни. И каждый моралист, по моим наблюдениям, практикует такой стандарт в большей или меньшей степени.

Моя реконструкция представляется мне достаточно убедительной. Кстати, в дальнейшем она получила новые, окончательные подтверждения. Но в ней не хватает некоторого психологического звена. Чуть позже я обнаружил и его. Так почему же «морщится, кривится, но ест»? Почему при столь сильном шоке от моих слов, мыслей, поступков Жанна собиралась выстроить со мной отношения? Думаю, ей нужна была моя моральная санкция. Чтобы пояснить это утверждение, я должен рассказать другую историю про другую «охотницу». Расскажу, хотя и немного смущен тем, что мой рассказ превращается в рассказ Шехерезады, где одна история оказывается частью другой истории. Но, может быть, читатель не заблудится в этих лабиринтах?

Но если читателю уже наскучили мои истории, то пусть пеняет сам на себя – с первых же страниц было очевидно, сколь зловерден и болтлив автор! Кроме того, моя книга посвящена «людоведению». А какое же может быть людоведение без разбора реальных житейских историй. Некоторое бытописание входит в цели моей книги. Именно на этом фоне и разворачивается великая и вечная драма Добра и Зла.

Итак, история про филологиню Ольгу. Эта история не относится к нынешним временам. Она из времени моего «хождения в люди», то есть из той эпохи, когда я выбросил на свалку своих интеллигентских божков и пустился в плавание по бескрайним просторам жизни в надежде поумнеть и обрести другое, более живое «Я».

В самом начале своей экзистенциальной карьеры я познакомился на «сачке» в университете с филологиней Ольгой. Она нравилась мне, и я попытался завести с ней роман. То ли я был неловок, то ли не представлял для нее интереса, но она осталась равнодушна ко мне. Но подругам представляла меня как своего молодого человека. Думаю, делала она это из соображений престижа – каждая уважающая себя девушка должна иметь молодого человека подле себя. Помаявшись, я перестал брать ее в расчет.

Потом она пропала вовсе – я перестал встречать ее в университете.

Через пару лет я вновь встретил ее. Я уже достаточно продвинулся в своем «житейском» образовании и собирался жениться на роскошной женщине, которая еще лет пять тому назад просто прошла бы мимо меня, не обратив внимания.

И вот мы встречаемся с Ольгой, разговариваем. Выясняется, что она уезжала за границу. Ольга со мной любезна, ласкова, проявляет изрядный интерес. Я озадачен такой переменной.

Начинаю думать, что мое положение аспиранта и перспектива стать членом кафедры философского факультета делают меня в ее глазах весьма интересной фигурой – как личность я ведь не так уж и сильно изменился со времен нашего прежнего знакомства.

Затем я говорю ей, что еду в букинистический магазин. Она просит взять ее с собой. Едем, болтаем. И в разговоре она непрерывно допускает фразы, которые возможны только в том случае, если бы мы были любовниками. Дальше – больше. На ее вопрос я говорю, что в моей квартире большие потолки и большие окна. На это она заявляет, что всегда знала, что у ее мужа будет именно такая квартира. (Ого! Мы уже женимся?) Но вида я не подаю, поскольку не могу взять в толк, что все это значит и что последует дальше.

После этой встречи мы общались еще несколько раз. Затем я сообщаю ей, что собираюсь жениться, но прошу не обращать внимания на это чисто формальное обстоятельство. Она разочарована.

Через неделю раздается звонок. Звонит Ольга и говорит: «Ты, кажется, как-то приглашал меня на свою дачу? Я готова, едем».

Договариваемся на завтра. «Отлично» – говорит она – «я так и скажу маме, что пару недель поживу у Сережи Белхова».

Моему удивлению не было предела – речь вроде бы шла об однодневной поездке. Но, не показывая своего изумления, соглашаюсь и с этим, так как всегда любил необычные ситуации.

На вокзал она приезжает с бутылкой вина и кактусом в глиняном горшке. Кактус для меня, о вине речь не идет. Погрузились в поезд, едем. Ольга сидит напротив меня, и я с удовольствием наслаждаюсь благодаря ее прозрачной блузке видом отсутствующего бюстгальтера. Но даже столь заманчивые картины не заслоняют от меня очевидного – она смущена и растеряна. Сегодня я прямо бы спросил ее о причинах такого состояния, но тогда я еще не умел выводить происходящее на рефлексивный уровень и открыто говорить об этом.

И вот мы выходим из поезда и направляемся к дому. Тут Ольга внезапно останавливается: «Ты знаешь, я ведь хотела извиниться и уйти прямо на вокзал. Я не могу поехать с тобой на дачу. Я должна быть в другом месте».

Я удивлен, но замечая, что коль уж она находится в двух минутах ходьбы от моего дома, и час тряслась в электричке, то глупо поворачивать назад, не заглянув в дом и не передохнув хотя бы полчаса. Ольга соглашается, и мы идем дальше.

При этом она объясняет, что неожиданно приехал ее любимый мужчина – югославский журналист – и она хочет провести все это время с ним. «Мама ни за что не отпустила бы меня к нему. Ты же – другое дело: аспирант, будущий преподаватель философского факультета. На тебя мама смотрит очень положительно. Если мама спросит тебя, то скажи, что я провела эти две недели у тебя».

Я был раздосадован – меня очевиднейшим образом использовали как подставную фигуру, и посвятили в курс дела только потому, что я должен дать подтверждение ее маме, с которой, впрочем, даже лично не был знаком. Еще пару лет перед этим я дал бы согласие. Через пару лет после этого я послал бы ее куда подальше, поскольку не люблю быть объектом манипуляции. Тогда же я сказал, что если мама по телефону меня спросит об этом, то скажу ей то, что Ольга хочет. Если же мы встретимся с мамой, и она долго меня будет выпрашивать, то лгать я не собираюсь. Может, именно поэтому мы так и не встретились с Олиной мамой?

На даче мы устроили небольшой пикник. Выпили мою бутылку вина, я «раскрутил» ее и на бутылку, которую она везла своему журналисту – это была моя маленькая месть счастливому сопернику. Была дикая жара. Мы изрядно напились – я и она. И, пьяная, Ольга исповедовалась мне.

Она долго жила вместе с одним своим однокурсником, тоже Сергеем. Но потом он познакомил ее со своим другом – югославским журналистом. И она параллельно стала и его любовницей. Чуть позже она забеременела от Сергея и, кажется, упустила время для аборта. Позор,

гнев матери, перспектива стать матерью-одиночкой – ужас! В этот-то момент в Москве вновь объявился наш журналист. Ольга говорит ему, что будущий ребенок от него. Не знаю, была ли это охота на журналиста – источник ничего не говорил об этом, но если и да, то явно неудачная. Журналист взял на себя ответственность за ситуацию, виновником которой он якобы был, но своеобразно. Журналист вывез ее в Германию – чтобы не узнала о беременности мама, – обеспечил роды и организовал удочерение родившейся девочки одной немецкой парой. Затем Ольга вернулась в Москву и продолжила учебу.

И вот этот журналист приезжает вновь, и она с ужасом ждет его встречи с ее любовником Сергеем – ведь все может открыться. Сергей знает, что ребенок от него и может сказать об этом другу! Тот же, открыв, что его бесцеремонно использовали, просто не захочет иметь с ней дело.

Поведав мне об этих скорбных обстоятельствах, она испугалась. Боже! Что она наделала – ведь я теперь знаю эту тайну и могу проболтаться или использовать против нее. Ольга стала заклинять меня о молчании – ее мать ничего не должна знать. Получив мое обещание ничего не говорить ее матери, она рассудила, что этого недостаточно и решила купить мое молчание.

О, нет, и еще раз нет, не стоит преждевременно радоваться за меня. Этот день не стал днем моего сказочного обогащения. Чем еще может, хочет и умеет купить молчание мужчины, выдавшая виды филологиня (выпускник МГУ поймет мою иронию)? Она решила отдаться мне.

«Я хочу тебя!» – внезапно сказала Ольга и уселась ко мне на колени. В то время я еще коллекционировал женские «скальпы», чтобы хоть как-то компенсировать свою низкую мужскую самооценку и поэтому воспользовался ее предложением. Да и мог ли я не воспользоваться им? В нашем обществе циркулирует масса мифов и табу, которые и управляют нашим поведением так же, как кукловод управляет поведением марионеток. Один из этих мифов – мужчина всегда может, хочет и должен. Женщина может отказаться, сославшись на множество вещей и в том числе просто на нежелание. Это культурно допустимо. Почему культурно? До каких пор мы будем полагать, что культура это Толстой и Достоевский? Культура – это идеальный мотив, управляющий поведением. Если все всегда полагают, что должно поступать так, то это и есть часть культуры, даже если речь идет о неуплате налогов. Так вот, женщина может отказаться. Если же отказывается мужчина, то тотчас возникает подозрение, что он импотент или извращенец. Этот миф разделяют даже самые образованные женщины. Тогда я еще подчинялся различным мифам и табу, хотя уже и начал от них освобождаться, и, соответственно, подчинился обстоятельствам. Впрочем, мне не удалось избежать обвинений в импотенции и извращении. Мой организм оказался более щепетильным, чем мой рассудок. Откровенность подкупа и опьянение сделали меня не способным к сексу. Поняв это, я решил, что поцелуи и ласки распалят меня. Я прижался к ней и стал целовать ее. Она с возмущением оттолкнула меня: «Ты какой-то извращенец! Ты что, не можешь трахнуть меня!» Она пощупала мой член: «Да ты – импотент! Кто бы мог подумать!» В общем, вела она себя, как шлюха. Я отношусь к шлюхам с таким же уважением, как и к остальным людям – я не вижу оснований для презрения или осуждения их. Но здесь я вынужден употребить этот термин в негативном смысле.

Тогда мне не хватило зрелости, чтобы защитить себя – я был беззащитен перед «непосредственными» людьми. Поняв, что я полностью обанкротился на ложе любви, я уговорил ее пройтись к пруду искупаться. Пока мы шли, Ольга время от времени впадала в задумчивость, которая разрешалась фразой: «Кто бы мог подумать, что такой крепкий на вид мужчина импотент! Теперь я понимаю, почему от тебя ушла жена».

– «Во-первых, не она ушла от меня, а я ушел от нее. А, во-вторых, я – не импотент! Просто, так сложилось. Когда я пьян, то потенция моя ухудшается».

Впрочем, я мог бы даже сослаться на данные медицинской науки. Но и это не помогло бы. На мои возражения она отвечала: «Конечно, конечно... Все из-за сильного опьянения». Но через пару минут слышалось вновь: «Кто бы мог подумать! Такой крепкий мужчина и импотент! Теперь я понимаю, почему от тебя ушла жена».

На обратном пути она вновь вспомнила о своем трудном положении. Вот здесь-то и прозвучала фраза, ради которой я и рассказываю эту историю.

«Мама никогда не простит меня, если узнает о моей дочери! Познакомь меня с Димой Г. (однажды я рассказал ей о своем знакомом, филологе, из интеллигентной семьи, с хорошими карьерными перспективами). Он влюбится в меня и женится на мне. Мы проживем с ним год, и тогда я ему все расскажу. И он меня простит. Куда же ему деваться!»

Вот! Фраза, дорогого стоящая для настоящего людоведа! Ведь людоед подобен какому-нибудь ботанику или зоологу. Тот готов днями ползать в грязи или, наоборот, лазить по деревьям с тем, чтобы отыскать какой-нибудь редкий вид. Найдя же его, он рад так, как если бы обнаружил величайшую драгоценность. Так и людоед. Его съедает подобная же страсть. Однажды моя знакомая философня с удивлением спросила меня: «Зачем ты общаешься со всеми этими людьми? То ты якшаешься с подлецами, то пьешь водочку на пляже с бандитами. Если человек недостойный или неинтересный, то я просто не замечаю его». На это я ответил: «Вот потому-то ты – метафизик, но не людоед. Но проблема в том, что ты учишь студентов в аудитории и читателей в своих книгах не только метафизике. Ты рассуждаешь о жизни, о человеке, о добре и зле и т. д. Но ты не знаешь о чем ты говоришь со столь солидным видом. Ты не видишь и не знаешь подлинной жизни и подлинных людей!» Этот упрек я могу бросить девяносто девяти из ста гуманитариев. Они отравляют своих учеников ядом «лучших» идей европейской культуры, имеющих мало отношения к реальной жизни. К счастью, среди этих учеников достаточно двоечников, игнорирующих поучения. Те же, кто услышал и поверил, не раз будут биты. Биты до тех пор, пока не поумнеют.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.